

Глеб Иванович Успенский

Нравы Растеряевой улицы



Глеб Иванович Успенский

Нравы Растеряевой улицы

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=664025*

Аннотация

«В городе Т. существует Растеряева улица.

Принадлежа к числу захолустий, она обладает и всеми особенностями местностей такого рода, то есть множеством всего покосившегося, полуразвалившегося или развалившегося совсем. Эту картину дополняют ужасы осенней грязи, ужасы темных осенних ночей, оглашаемых сиротливыми криками «караул!», и всеобщая бедность, в мамаевом плену у которой с незапамятных времен томится убогая сторона.

Бедное и «обглоданное», по местному выражению, население всякого закоулка, состоящее из мелких чиновников, мещанок, торгующих мятой и мятной водой, мещан, пропивающих все, что выторговывают их жены, гарнизонных солдат и проч., такое бедствующее население в городе Т. пополняется не менее обглоданным классом разного мастерского народа. ...»

Содержание

I. Прохор Порфирыч	8
II. Первый опыт	40
III. Дела и знакомства	61
IV. Суббота	112
V. Идут дни и годы	128
VI. «Медик» Хрипушин	132
VII. Хрипушин ищет рюмочки	143
VIII. Семейство Претерпеевых	149
IX. Осиротелая семья	168
X. Жизнь и «ндрав» Толоконникова[3]	177
XI. Семен Иванович в хорошем расположении духа	189
XII. Семен Иванович знакомится с семейством Претерпеевых	192
XIII. Семен Иванович «У пристани»	212
XIV. Разный растеряевский люд	219
1. Книга	220
2. Балканиха	226
3. Мещанин Дрыкин	240
XV. Прогулка	249
XVI. Благополучное окончание	271

Глеб Иванович Успенский

Нравы Растеряевой улицы

В городе Т. существует Растеряева улица.

Принадлежа к числу захолустий, она обладает и всеми особенностями местностей такого рода, то есть множеством всего покосившегося, полуразвалившегося или развалившегося совсем. Эту картину дополняют ужасы осенней грязи, ужасы темных осенних ночей, оглашаемых сиротливыми криками «караул!», и всеобщая бедность, в мамаевом плену у которой с незапамятных времен томится убогая сторона.

Бедное и «обглоданное», по местному выражению, население всякого закоулка, состоящее из мелких чиновников, мещанок, торгующих мятой и мятной водой, мещан, пропи- вающих все, что выторговывают их жены, гарнизонных солдат и проч., такое бедствующее население в городе Т. пополняется не менее обглоданным классом разного мастерового народа.

В Т. с давнего времени процветала промышленность всякого рода металлических изделий: в городе и в окрестностях находятся чугунолитейные, колокольные, самоварные и другие заводы. Кроме того, город славится известным заводом стальных изделий, населившим своими рабочими все Заречье и целую слободу Чулково. Это сторона совершенно особенная; обыватели ее, когда-то пользовавшиеся разными

правительственными привилегиями, гордо посматривали на мастеров городской стороны, работающих в одиночку, и при встречах не упускали случая поделиться взаимными любезностями: «кошкин хвост!» – говорил один, «огурцом зарезался», – отвечал другой, и оба с серьезными лицами проходили мимо. От насмешек зареченского мастера, или казюка, как называют их мещане, не уходил даже чиновник, для которого тоже были изобретены особенные клички, например: «стриюцкий» или «точеные ляшки» и проч.

Растеряева улица лежит на городской стороне, но общий колорит рабочего города отразился и здесь. Вот, между прочим, в лачуге, ниоткуда не защищенной заборами, проживает представительница собственно растеряевского мастерства, старая солдатка, «кукольница». Под ее дряхлыми пальцами цветет отечественная скульптура; в летние, погожие полдни на завалинке ее лачуги непременно сушится несколько глиняных офицеров и дам и бесчисленное множество лошадей-свистулек с одними передними ногами. Растеряевские мальчишки запасаются этими свистящими конями и в течение целого года разнообразят смертельно пронзительным свистом свое горестное существование. В таких же лачугах живут сверлильщицы, наждашницы, женщины и девушки, занимающиеся на фабриках. В этой же улице живут гармонщики, токари, наводильщики и т. д. На конце улицы, упирающейся в широкое Воронежское шоссе, виднеется квадратное здание из темно-красного кирпича – самовар-

ная фабрика. Все эти мастерства дают Растеряевой улице несколько иную сравнительно с другими захолустьями физиономию. В дни отдыха молчаливая физиономия ее оживляется драками и пьяными, разбросанными там и сям. В будничные дни к звонкому пению кур присоединяется стук молотков, то попеременно, то сразу вдруг обрушивающихся на отчеканиваемую металлическую массу; звуки гармонии, на которой мастер для пробы тронул с «перехватом»; жужжание токарного станка – и надо всем этим, по обыкновению, тихая песня.

В темные зимние вечера, когда бывали обыкновенно везде уже заколочены наглухо ворота и ставни и обыватели ложились спать, окна фабрики были еще ярко освещены, из осьмигранной трубы медленно выползали большие мутно-красные искры, тотчас же потухавшие в темном воздухе.

Никем не вспоминаемая, никем не сторожимая, Растеряева улица покорно несет свое бремя – нужду. Стук молотков, постоянная песня или бойкая шутка мастерового, идиллическая веселость детских уличных игр или развеселая сцена бабьего столкновения, разыгравшаяся среди бела дня и среди улицы, – все эти внешние, уличные проявления растеряевской жизни не дают, однако, никакого понятия о том темном горе жизни растеряевского обывателя, которое гнетет его от колыбели до могилы.

Мы узнаем его постепенно и, как ни удивительно будет это для читателя, начнем наше знакомство с растеряевским го-

рем при помощи такого растеряевского человека, который, ко всеобщему удивлению, иногда с совершенно покойною совестью может сказать о себе:

– Чего ж мне еще от Христа моего желать?

Человек этот был pistolетный мастер, молодой малый, по прозванию Прохор Порфирыч, обитавший в собственном домишке. Ради такого дивного дива мы прежде всего и познакомимся с этим счастливым человеком, чтобы вместе с тем познакомиться с скромными растеряевскими людьми всякого звания, по-своему недовольными и по-своему счастливыми...

I. Прохор Порфирыч

Года два тому назад Прохор Порфирыч еще не был постоянным обывателем Растеряевой улицы, хотя улица эта вынырнула его и выпустила на свет божий из своих голодных недр. Дело в том, что в Растеряевой улице когда-то давно поселился отставной полицейский чиновник, упрочивший за собой славу великого дельца и человека особенно неустойчивого насчет женского пола: так, он развелся с женой, необыкновенно слезливой женщиной, и сошелся с ярославской мещанской девицей Глафирой, которая долго держала прихотливого барина в своих руках и под конец все-таки должна была отказаться от него в пользу чиновничьей дочери Лизаветы Алексеевны, девицы средних лет, с опущенными всегда в землю глазами и жестоким стремлением к воровству. Глафира, впрочем, не рассталась с баринком: низведенная на степень кухарки, она решила скоротать свой век в кухне и полегонечку начала запивать. Прихотливый барин тоже и сам не имел духу прогнать ее (что следовало по обычаю), потому что у него было два сына, которые хоть и назывались Порфирычами в честь ветхого кучера Порфирия, но и барин, и Глафира, и дети знали, в чем дело. Старший сын Глафиры оставался при доме, в качестве лакея; младший, Прохор, отдан был в ученье к токарному мастеру. И в то время, когда веселый дом чиновника уныло стоял с за-

пертыми в нижнем этаже окнами, когда в саду его не слышно было больше пьяных чиновничьих голосов, распевавших светские и духовные песни, а сам барин, пораженный всяческими недугами, неподвижно лежал в маленьком мезонине, ожидая смерти, Прохор Порфирыч, в эту пору двадцатитрехлетний парень, работал за Киевской заставой один, на себя, приготавливая на продажу револьверы.

В это время и начинается наше с ним знакомство.

Вследствие ли сознания своего «благородства» или вследствие житейского опыта, Прохор Порфирыч держался как-то в стороне от своих собратий мастеровых, не походя на них ни в чем: его никто никогда не видал в драке, с разбитым глазом или пьяным, валяющимся где-нибудь среди лужи.

Растрепанная, ободранная и тощая фигура рабочего человека, с свалывшеюся войлоком бородой, в картузе, простреленном и пулями и дробью во время пробы ружья, с какими-то отчаянными порывами ежеминутно доказать, что «жизнь – копейка», такая отчаянная фигура совершенно не походила на фигуру Прохора Порфирыча: на нем всегда был цельный, опрятный картуз, лицо тщательно вымыто, а грязная шея, запыленная мельчайшими железными опилками, носящимися в воздухе мастерской во время работы, пряталась под гарусным шарфом, придерживаемым плисовым воротником достаточно подержанного драпового пальто. Плохонькие, но все-таки выпускные панталоны и ясные признаки поплеывания на носки грязноватых сапог, все это гово-

рило о желании иметь хоть какое-нибудь подобие человека, и главное, человека благородного. Вообще он не столько походил на мастерового, сколько на семинариста, благочиннического сына; у него не было только этого довольства фильдековскими перчатками, этого страстного желания распластать огненного цвета шарф по всей спине, да и физиономия его носила следы постоянной сдержанности, вдумчивости, дела, что сам Прохор Порфирыч называл «расчетом», руководясь им во всех своих поступках.

Так, например, носить немецкое платье Прохора Порфирыча побуждало не только благородство, но и расчет. «Слушись, – говорит он, – пожар, примерно, твое дело сторона... Так-то!»

И действительно, в то время, когда руки полицейских (порастеряевски «хожалых») тащили за шивороты толпы разных чуек и чемерок и когда эти чуйки среди огня рвали голыми руками раскаленные листы железа, изредка подставляя лицо и спину под струю воды, чтоб не сгореть, – в эту пору Прохор Порфирыч мирно стоял среди благородных людей и спокойным голосом объяснял соседу:

– ...Извольте видеть, столб-от... белый-с?

– Да?

– Это все из-за самых пустяков происходит. Потому теперича из верхних слоев тяга с одного конца ударяет, а снизу-то... уж она опять тоже отшибку дает... Извольте взглянуть, как оттуда понесло...

И Прохор Порфирыч, поднимая руку вверх, поворачивался лицом к ветру.

Чем более Прохор Порфирыч убеждался в справедливости своих взглядов, тем вдумчивее становилась его физиономия.

Часто во время работы в своей мастерской Прохор Порфирыч один-одинешенек вел какие-то отрывочные разговоры вслух, доверяя свои мысли станку и сырым, почернелым стенам.

«Черти! право, черти! – слышалось тогда в мастерской. – Ваше дело – путать... колесом ходить. Нет, я тебе разберу авчину-то!..» Но если случалось, что Прохор Порфирыч забежал на минутку к какому-нибудь знакомому чиновнику (знакомые его были исключительно чиновники и вообще люди благородные), то здесь сразу прорывалась вся его сдержанность и все тайные размышления вылетали наружу; он особенно любил говорить о своих делах именно с чиновником, потому что всякий чиновник умеет разговаривать: у места говорит «да», у места «нет» и всегда кстати задает вопросы.

Если же, паче чаяния, чиновник и не понимает, в чем дело, то уж зато отнюдь не противоречит.

Сидя где-нибудь в углу в тесной квартирке одного из своих знакомых чиновников, Прохор Порфирыч не спеша прихлебывал горячий чай и не переставая говорил.

– Вот вы изволили, Иван Иванович, разговаривать – времена-то теперь тугие-с.

– Д-да! – вскидывая ногу на ногу, говорил чиновник.

– Д-да-с; а ежели говорить как следует, то есть по чистой совести, умному человеку по теперешнему времени нет лучше, превосходнее... Особливо с нашим народом, с голью, с этим народом – рай!

– Рай?

Чиновник встряхивал от удивления головой.

– Ей-ей-с!.. Главная-то наша досада – не с чем взяться!.. Хоть бы мало-маленько силишки в руки взять, как есть – первое дело!.. Одно: умей наметить, расчесть!.. Приложился – «навылет». Вот, говорят: «хозяева задавили!» Хорошо. Будем так говорить: надели я нашего брата, гольтепу, всем по малости, чтобы, одно слово, в полное удовольствие, – как вы полагаете, очувствуется?

Чиновник всматривался в лицо Прохора Порфирыча и нерешительно произносил:

– М-мудрено!

– Ни в жисть! Ему надо по крайности десять годов пьянствовать, чтобы в настоящее понятие войти. А покуда он такие «алимонины» пушает, умному человеку не околевать... не из чего... Лучше же я его в полоумстве захвачу, потому полоумство это мне расчет составляет... Так ли я говорю?

– Что там!.. Народ как есть!..

Чиновник наливал чай и, указывая Порфирычу на чашку, прибавлял:

– Ну-ко... опрокинь!

Порфирыч брал чашку, садился на прежнее место и продолжал развивать перед чиновником теорию о том, как бы «надо» по-настоящему, «ежели б без полоумства». Понижая почти до шепота свой голос, словно что утаивая от кого-то, он исчислял все выгоды рассудительного житья: «тогда бы и работа ходчей», и «сам бы собой дорожил», и «был бы ты на человека похож», – шептал он, – и как ни был сообразителен чиновник, он поддавался своему дрогнувшему сердцу и с скорбью произносил, что хорошо бы надоумить «ребят»; но тут же, принимая в расчет «полоумство», опять приходил в себя и убеждался, что «их, чертей», надоумить нет никакой возможности. Иронический взгляд и улыбка Порфирыча, последовавшая за таким заключением, неожиданно поражали чиновника...

– Надоумить! – возразил Порфирыч, не изменяя улыбающегося лица. – Напротив того, Иван Иванович, надоумить его можно в одну секунду... Человек, который имеет настоящую словесность, может это оборудовать с маху. Скажет он им: «Черти! аль вы очумели?... Так и так...» и такое и прочее... В единую минуточку они отойдут... от хозяина... Но что же из этого выходит? А то, что этому словеснику шею они свернут, тоже не мешкая... «Отбить – отбил, а работы нету!» Хозяин, он перетерпит, а наш брат на вторые сутки заголосит... Брюхото, оно – первое дело – в кабак!.. В ту пору ему утерпеть нельзя... А хозяин с благочинностью взял полштоф в руку, поднял его превыше головы для повсемест-

ного виду: «Ребятюшки!» Так и хлынут к нему... В ту пору хозяин может их нажимать даже без границ... Это расчет-с большой!

Снова поддакивает чиновник и, желая не уронить себя на этот раз, уже смело выводит заключение, что всему горю голова – «водка!»... Порфирыч на этот раз даже засмеялся...

Чиновник не знал, что и подумать.

– Водка-с! – ухмыляясь, спокойно говорил Порфирыч. – Водка, она ничуть ничего в этом деле... Она дана человеку на пользу... Потому она имеет в себе лекарственное... Как кто возьмется... А главное дело опять же это полоумство... Как вы обсудите: мальчонка по тринадцатому году, и горя-то он настоящего не видал, а ведь норовит тем же следом в кабак!..

И пьет он «на спор», «кто больше»... Облопаются, с позволения сказать, как бесенята, а потом товарищи и тащат по домам на закорках.

Чиновник недоумевал.

– Нет-с, Иван Иванович, в нашем быту разобрать, что с чего первоначал взяло, невозможно!.. У нас доброе ли дело, случится, сделают тебе – и то сдуру; пакость – и это опять сдуру... Изволь разбирать!.. То ты к нему на козе не подъедешь, потому он три полштофа обошел, а в другое время я его за маленькую (рюмку) получу со всем с генеральством его. Опять с женой драка... Несусветное перекабыльство!¹

¹ Слово это происходит от «кабы». Разговор, в котором «кабы» упоминается

– Перекабыльство? – переспрашивает чиновник.

– Да больше ничего, что одно перекабыльство. Потому жить-то зачем – они не знают... Вот-с! Вот к этому-то я и говорю насчет теперешнего времени... Прежде он, дурак по-лоумный, дело путал, справиться не мог, а теперь-то, по нынешним-то временам, он уж и вовсе ничего не понимает... Умный человек тут и хватай!.. Подкараулил минутку – только пяточком помахивай... Ходи да помахивай – твое!.. Горе мое – не с чем взяться. А уж то-то бы хорошо! Хоть бы мало-мало силенки... Вместе с этими дьяволами умному человеку издыхать? Это уж пустое дело. Лучше же я натрафлю да, господи благослови, сам ему на шею сяду.

Тут вытаращил глаза даже сам Прохор Порфирыч; чиновник делал то же еще ранее своего собеседника. Долго длилось самое упорное молчание...

– Время-то теперь, Порфирыч, – нерешительно бормотал чиновник, – время, оно...

– Время теперь самое настоящее!.. Только умей наметить, разжечь в самую точку!..

Прохор Порфирыч сказал все. Некоторое волнение, охватившее его при конце рассуждений и намерений, только что высказанных, прошло. Разговор плелся тихо, пополам с зевотой; толковали о том, что «от праведного труда будешь не

часто (кабы то-то да кабы другое... кабы ежели и т. д.), – очевидно, разговор недельный; таким образом, «перекабыльство» – то же, что бестолковое «галдение» в разговоре и бессмыслица в поступках. (Здесь и далее примеч. автора.)

богат, а горбат». Заходила речь о ворах, которые в последнее время расплодились в городе, и Прохор Порфирыч приводил по этому случаю какую-то поговорку, и т. д. Из приличия, на прощанье, Порфирыч задавал чиновнику еще несколько посторонних вопросов и наконец уходил; чиновник высовывался в окно и, увидав своего собеседника на тротуаре, считал нужным тоже что-нибудь сказать.

– Так перекабыльство? – спрашивал он.

Порфирыч утверждал это кивком головы и утвердительным движением руки. Оставшись один, чиновник непременно думал уже про себя: «Однако этот Прошка – значительная язва будет в скором времени!...»

Как видно, намерения Порфирыча насчет своего брата, рабочего человека, были не совсем чисты. Самым яростным желанием его в ту пору было засесть сказанному брату на шею и орудовать, пользуясь минутами его «полоумства». Между тем Прохор Порфирыч сам на своих плечах выносил и выносит всю тяготу жизни рабочего человека, имея преимущество только в трезвости, в обстоятельном расчете всякого дела и больше всего в благородном происхождении, которое как-то уж и без расчета и без сознательных причин заставляло его крепче держаться своих взглядов и клало какую-то грань между ним и чумазым мастеровым народом. Ему и в голову не могло прийти так же упорно, как упорно размышлял он о собственной участи, размышлять о том, что перекабыльство и полоумство, которые он усматривает

в нравах своих собратий (питье водки на спор, битье жены безо время), что все это порождено слишком долгим горем, все покорившим косушке, которая и царила надо всем, заняв по крайней мере три доли в каждом действии, поступке и без того отуманенного рассудка. Прохору Порфирычу некогда было разбирать этого; у него была своя забота, с которою только-только справиться.

«Душа пить-есть хочет, да штаны сшей!» – говорил он и резонно не хотел иметь ничего общего с пропащим народом. А народ этот он понимал и рассказывал про него так:

– Был я мальчиком по двенадцатому году и, спасибо братцу, в то время грамоте выучился: читать-писать... Хоть, признаться сказать, вся моего братца эта учеба в том и состояла, как бы кого линейкой обеспокоить, то есть по затылку...

И дрались они, братец, не то чтобы с сердцов, а даже от большого уныния... Скука. Обучившись я грамоте, после того не знают, по какой меня части пустить... Маменька Глафира Сергевна от сидельцев без памяти – «лучше житья нету», барин говорят: «как знаешь», а станем у братца спрашивать, то опять же это уныние... Был я у мальчика одного, знакомого, он у мастера работал – «иди, говорит, к нам...». Поглядел я на станок (по токарному мастерству они были), колеса эти разные, винты, пойдет чесать, пойдет – откуда что возьмется... замлел! «Хочу да хочу, отдай да отдай к мастеру!.. Никуда больше не пойду!..» Молил, просил, маменька серчают, братец и обругал и прибил – ну все же отдали. Толь-

ко не к тому мастеру, а к растеряевскому: чтобы поближе к своим...

Радуюсь я: думаю, вот сейчас я эту машину превзойду до последней поршинки. Только что же случилось: как я был изумлен, когда, три года у мастера живши, ни разу к этому станку доступу не получил, потому, собственно, что был он, этот станок, пропит... Ужаснулся я в то время! Бедность была непокрытая, истинно уж ни кола, ни двора, ни куриного пера...

Вся избенка-то была вот этак отграничить, и лежало в этой избе корыто с глиной, а боле, кажется, ничего и не было... Стал я об таком ученье удивляться, отыскал ребят – было нас учеников трое, – говорю: «Что же, ребяташки, когда же это ученье будет?..» А один из них, Ершом звали, худой, глаза большущие, маленький, волоса топорщатся, шепчет мне ровно бы басом: «Ты, говорит, не говори про это... А лучше того ноне ночью, как с покражи придем, я тебе про дьяволов сказку скажу... Молчи. Я тебя на все наведу...» – «С какой с покражи?» – «Ты, Проха, громко не кричи, лучше ты шептуном, когда тебе что надо. А покража у нас каждую ночь положена, потому что жрать нам с хозяевами нечего, так мы это все ворует с соседских огородов...» Тут я бога вспомнил... залился, залился – поздно! А Ершишка утешает и все шепчет: «Ты, друг, не робей, потому я тебя полюбил и ноне скажу сказку про Ефиопа... Я их и по ночам вижу...» Хозяина все дома не было.

Подошел вечер, Ершишко говорит: «Пора, Проха, на кражу... Перва пойдём дров добывать». Пошли мы все троичкой на пустошь, а на пустоши стояла гнилая изба: может, года с три в ней никто не жил, и большим страхом от нее отдавало... Перва мимо пройти боялись, потом посмелей стали, в окошечко заглянули, потом того, в нутро пробрались: лежит на полу мертвый петух и тряпка с кровью... Начали слоняться туда бродяги, нищие и пьяные, приказный один зарезался... А после того, помаленьку, кто ставню оторвет, кто дверь – и пошли таскать...

Так что изба эта целой улице была отопление... Приходим, а уж там и раньше нас набралось разного голого народу: тащат что под руку попало, а то и друг у дружки рвут; завидели нашу братию – гнать; мы на них пошли; они – дубьем... А Ершишко словно полковой: «Ребята, говорит, не отставай!» Как пошли они этого беднягу, Ершонка, трепать – только и видно, как он по воздуху летает, только подшвыривают – как есть в лапту...

Но Ершонок не мало храбрости сохранил и, летая по воздуху, кричит: «Нет, врешь! посмотрим, кто кого...» Нахожу я Ерша на крапиве – лежит он и шипит: «Башку ушибли!» Стал я его жалеть. «Ничего, говорит, Проха, все же я не одно поленце получил... А этому Ефремову, ундеру, я докажу, как он меня ноне избил... А тебе я за твою жалость две сказки скажу, ты будешь доволен...» Отсюда пошли мы в другое место воровать: репу, капусту, огурцы... Тут дело обо-

шлось без помехи, даже так, что яблок себе натрясли, никто не слышал... Целую ночь Ершонок все мне сказки сказывал и в смертельную дрожь меня ввел своим шептаньем, под конец начал даже, ровно сумасшедший, домового мне показывать. «Вон, говорит, я вижу».

Спали мы в сенцах, ночь была непогожая, пробрало нас водой до костей, по улице вода гудела... А хозяина все еще не было.

Только под утро, чуть светок, слышишь-послышишь, в сенную дверь стучатся. Отворили: нищая стоит. «Поглядите-ко, братцы, не ваш ли это человек, бабы подняли...» Сейчас Ерш вскочил. «Я это все, говорит, знаю!» Побегли и мы... Глядим, две нищие в лохмотьях несут человека, только-только рубаха осталась: нашли они его в канаве, и всю ночь через него вода бежала. Ерш живым манером его оглянул, – «наш, говорит, осторожней; за мной!». Принесли они его в избу, свалили мокрого наземь; хотели было нищие награждения попросить, ну только хозяйка сказала: «За что я вас буду награждать, в случае он жив? Если б он издох, то я вам большую бы милостыню подала!» По правде сказать, хозяйка наша не то чтобы очень тосковала: начала она у одного барина приживать... кой-чем прислуживала...

Так мне грустно было, так грустно, не мог я горести своей удержать, побег домой, к маменьке... Залился, рассказал, как все было, какое началось ученье... Но маменька еще того пуще меня огорчила, так как совсем от меня отказалась.

Стал я брата умолять, но и братец, разогорчившись рассказом моим, опять-таки шибко меня потрепал. Надо, стало быть, как-никак терпеть!

Между прочим, к ночи хозяин почувствовался. Хозяйки не было. Подзывает он меня и говорит:

«Смотри у меня, старайся:..»

«Буду!» – говорю...

«То-то!»

И тут же он безо всякой злобы развернулся мне в щеку, дабы я узнал, какова в руке его тяжесть, для весу, чтобы через эту боль помнил я и соблюдал осторожность...

И началась с этого времени моя каторжная жизнь!

Ели мы, когда что случится да когда своруешь; спали на мокроте, на дожде... А ученья все не было, не начиналось; все хозяин, когда трезвый, от бога ждал, вот большая работа набежит, вот набежит... А покуда что, все он хмельной, все нет-нет да вытянет палкой кого... Случалось, в эту пору навернется работишка – в ножницах винт поправить или бы какому чиновнику на палку наконечник насадить. Тогда хозяин радуется и чиновнику говорит: «будьте покойны!» Но подумавши, полагал так, что это дело «успеется», и звал Ерша шутку шутить...

«Ершило! – говорил он, – можешь ты мне эту палку заговорить?..»

«Могу! В лучшем виде!»

«Чтобы ее никакая сила не взяла?..»

«Могу!»

«Ну, заговаривай!»

Ерш сейчас начнет разными словами сыпать (где-то он научился заговоры заговаривать) – не поймешь, откуда это он их набрался. Сыплет-сыплет...

«Готово!» – говорит.

«А ежели ты врешь, то могу я ее в пропой пустить?..»

«Я, – говорит Ерш, – в жисть мою не врал, а заговорено это дело наглухо...»

Тогда хозяин берет без всякого труда палку, дает Ершу по затылку и несет ее в кабак.

«Ах ты, идолова порода, – закричит Ерш, – что я сделал! Ведь я самое главное слово пропустил!.. А то бы ни в жисть ему этой палки не утащить... Ах я, разиня, разиня!..»

А хозяину, главное, «к случаю» как бы прицепиться: «ведь проспори!»

Придет хозяин пьяный, тут уж всем достается... На нашу долю больше всех! Ежели жена случится, то сейчас норовит она от мужа либо под кровать, либо на чердак. Хозяин почнет шастать, искать; найдет – драка! И вся эта битва с женой – «зачем спряталась!».

Случится, хозяин отрезвеет, в ту пору он тихий, то есть как есть перед всеми виноват...

Тут мы к нему, бывало, пристанем:

«Дяденька, когда ж ученье-то?..»

«Ребятюшки, – говорит, – дайте вы, ради господа, мне ма-

ленечко в ум войти. Может, – говорит, – хоть чужие молитвы об нас бог услышит и пошлет нам какого заступника.

Тогда не токмо всех вас в единую минуточку выучу, еще у всякого прощения попрошу...»

Тут, случается, жена заговорит:

«Заступника тебе? А чиновник палку дал, чем бы выработать что, заместо того пропил?»

«Милая! супруга, Анна Федоровна! Как же может эта палка нас от нашего несчастья сохранить? Тут на двугривенный дела не справишь! Ежели б палкой-то этой голову мне кто прошиб, тогда бы я за это ему ручки поцеловал...»

«У нас все так-то!..»

И пойдет баба причитать: ей только дорваться, кажется, порошинки не оставит.

«Анюта! – заговорит хозяин, – ради царя небесного, не души ты меня этими разговорами!.. Я это все в тысячу раз складней знаю... Только погоди ты хоть минуточку, дай мне опомниться, всех вас в золотые наряды разукрашу... Ах, боже мой!»

И не пройдет с час места, а уж опять от него жена под кровать прячется, а наш брат кто куда разбежимся.

И всё мы этой работы дожидаемся, всё бога молим. Кажется нам, что как только эта работа навернется, в ту же минуту все и пойдет благополучно. Случается так, и в самом деле, вдруг откуда ни возмись работа, и большая... Дом, что ли, какой чиновник строит – сейчас, бывает, навалят нам замков

чинить, новые делать, опять к окнам эти приправы, чтобы в лучшем виде, еще какая ни на есть мелочь... Ежели так-то случится, то уж истинная благодать наступала у нас в то время!.. Ну, только все же на одну минуточку...

Как сейчас помню, случился такой заказ; выпросил хозяин задатку и (удивление!) трезвый домой пришел. Сейчас начал он на образ креститься и передо всеми нами клялся:

«Вот разрази меня гром, ежели я только дохну на него, на мучителя моего (на вино то есть)! Жена! Ребятюшки! Всем вам теперича я удовольствие сделаю!..»

Сейчас отпускает жене на расходы целковый; на свечку казанской божией матери тоже рубль серебра, остальное себе на материал. Самовар закипел, все мы радуемся, бога благодарим; только и слышно:

«Слава богу! Слава тебе, господи, заступнику!.. Ах, как мы, ребятюшки, наголодались с вами!..»

Очень я в это время радовался, только Ерш этот шипит: «Погоди, – говорит, – не торопись; ты меня только слушай одного!»

И точно. Пошел хозяин в кабак инструменты выручать и нас взял с собой: такая была дружба у нас. Идем и разговариваем. Входим в кабак. Все чинно... Выручил инструменты.

Вина ни-ни!.. Хотем мы уходить, а целовальник так, между делом, и говорит:

«Игнатыч, – говорит, – что это мы слышали, кабысь у тебя расстройство по работе-то?»

Хозяин ка-ак на него зарычит:

«Расстрой-ка-а?.. Из каких же это местов слухи такие?..»

И сейчас он, чтобы кабацкой канпании на удивление было, вываливает деньги на стойку и продолжает:

«Расстройка! Деньги-то вот они... Сла-ва богу!.. У меня работы не быть? Да где же это ты по нашей стороне такого мастера сыщешь, чтобы в полном комплекте?..»

Сейчас он полу откинул, картуз заломил, как есть миллионщик...

«Какая же может у меня быть расстройка, когда я вот все эти деньги в пропой отделил?»

«Ну, – говорил целовальник, – уж и в пропой!»

Тут дяденька от обиды такой весь зеленый сделался и потребовал сразу «монастырский», то есть уж самый превосходительный стакан...

Ну, и пошло!..

Только поддает, только поддает, и такой форс в нем проявился, что даже на удивление.

«У меня, – говорит, – работы навалено! У меня всегда без остановки! У меня на двадцати станах идет!»

Истинно глазам моим не верю! А дяденька только покривал:

«Д-давай!.. Полно зубы-то полоскать! Расстройка!..»

Под конец того инструменты эти он опять же в прежнее место препроводил и очень вином нагрузился: сидит на лавке, еле держится и все бормочет:

«Я гр-рю, васскор-родие, на двац-пять цалковых в сут-ки...»

Я гр-рю, васскор-родие... может, по всей империи...»

Тут целовальник видит – время позднее, говорит:

«Голубь! Время, запираю».

Взял его под мышки и потащил к двери.

«Я пер-рвый мастер?..»

«Ты-ы! – говорит целовальник. – Кто ж у нас первый-то?..»

Ты и есть!..»

«Масей!.. – это хозяин-то наш ему, – признайся по сове-сти, доказал я тебе свое могущество?..»

«Ты, Игнатыч, – отвечал ему на это целовальник, – так ме-ня ноне уничтожил, так сконфузил... То есть истинно побе-дил своим богатством! Я думал, ты бедный, а ты поди-кось!»

«Я-а-а!..»

«Да уж ты-ы-ы!..»

И оставил нас целовальник на крыльце; дождик шел, и темно было...

«Ребятушки! Видели, как я его победил?..»

«Видели», – говорим.

Не могли мы его тащить с собой, повалился он на улице и тут же заснул...

Стали мы ему в трезвый час говорить:

«Дяденька! Что же это вы себя роняете? Перед богом бо-жились, так хорошо выговаривали, а заместо того еще ху-же?»

«Ребятушки, – говорит, – знаете, что я вам скажу?»

«Я знаю!» – заговорил Ерш...

«Нет, тебе этого не узнать!.. А вот что я скажу: кажется мне, сколько я зарокос на себя ни клади, никогда мне себя не удержать... Потому радости на своем веку только я и видел, когда в лодыжки играл махоньким еще... Люди добрые в мою пору и хозяйство знают, и семью, и почет получают... Ну, а мне этого в своей избе не сыскать! Нет!.. Окромья лодыжек-то я еще, ребятушки, ни единою радостью не радовался... По этому случаю как малого ребенка можно меня обмануть, лишь бы только единую минуточку предоставить мне по моему желанию... Так-то!..»

Так мы и жили, а бесперечь хозяин себя чрез свое безголовье до того доводил, что непременно он раз двадцать у заказчика в ногах валялся, ругали его, самыми страшными божбами божился, вымаливал еще чуточку и опять же таки через слабость свою домой не доносил... Под конец входил квартальный: «Ты Иван Игнатов?» Ну, тут уж мы все в ноги валимся; тут народу копошится страсть!.. Вымолим кое-как прощение. И уж тут-то работа начина-а-а-ется!.. То есть не то что работой можно это назвать, а истинно ужас какой-то всех в это время обхватывал... Потому хозяин ровно бы сумасшедший бывал тогда... Где-то уж, господь его знает, доставал он инструменты, и так-то ли принимался орудовать ими, что уж нашему брату только в пору глаза вытарашить, не только для себя замечать. И день и ночь, и день и ночь

только опилки летят, только молотки постукивают; ни водки в это время, ни даже крохи не брал и уж так-то работал, без разгибу. В этом запале нам в мастерскую нос показать опасно было: «Пр-рочь, кричит, черти! Так промежду ног и суются! Пр-рочь, расшибу!...»

Мы разбежимся обнаковенно... Кто где ежимся...

Кончит работу он беспременно к сроку и все денежки до копеечки пропьет, даже домой не скажется... Дней по крайности пять пропадает...

Так я вздыхал в это время, так я убивался о своей жизни!

Который, думаю, мне теперича год, никакого я мастерства не знаю... Только-только колотушки и треухи в исправности отпускаются... На ласковое слово хозяйское понадеешься, пустое выходит. Где обиды не ждал и не чуял я совсем – втрое тебе ее, безо всякого заправского дела... Что это, думаю, господи?

Хотел я сбежать... Ну, только вскорости история одна случилась, и так обошлось... Однава смотрим мы, что такое, по нашей улице воза едут: с перинами, с сундуками, столы, например, разные накручены, стулья... Все вообще разное имущество... И идут с боков этих возов бабы и всё у встречных спрашивают что-то... Ну, только встречные от них с испугом бегут... Что за удивление? Пошли мы за ворота с Ершом, стали нас бабы спрашивать:

«Где тут, ребятишки, солдатка покойница Караулова жила?»»

«Я знаю где!» – говорит Ерш.

«Авдотья Кузьминишна?»

«Знаю! Знаю... Я все знаю! Только вы меня слушайте!...»

«От нее нам в наследство дом есть...»

«Есть!.. Пойдем!..»

Повел он их на пустошь: там кое-где щепки валяются, и печка с трубой вытянулась. Только и сохранено от дому.

«Вот! – говорит Ерш. – Получите!..»

«А дом-то?.. Где же дом-то?..»

«Дом точно что тут был, – отвечал Ерш, – ну, только теперь отыскать его мудрено... хошь я, признаться, словцо одно знаю...»

Между прочим, бабы по этой пустоши заметались как угорелые... Руками машут, бросаются туды, сюды... «Ах-ах-ах, ах-ах-ах... Ах, дома нет! Ах, где дом!..» Тут народу собралось множество, стали все удивляться, где дом: «я, – говорит один, – только поленце; я, – говорит другой, – только щепочек чуть-чуть отсюда взял». А тут целый дом пропал! Стали баб этих жалеть. Бабы те заливались слезами и рассказывали:

«Она тетка нам; она, Авдотья-то, нам этот дом отказала. Жили мы в ту пору в дальнем Сибири, на самом конце; покуда дошло туда извещение, с год места протянулось, а уж нас в то время на Капказ перегнали; покуда опять в здешние палаты извещение-то вернули, покуда отсюда на Капказ дали знать, время-то два года и ушло; летошний год мы в октябре

месяце собрались из черкесской земли, да покуда доползли, ан всего три года! Ах, ах, ах, дома нету!..»

И выть!

Начали бабы через начальство орудовать. Губернатор говорит, чтобы этот дом отыскать, – «из горла вырви, да вороти». Стали нашу Растеряевку потрошить: кто избу разбирал?

Никто не признается, один на одного сворачивает... Что тут делать? Хозяин наш дрожит: «Ну, говорит, ребята, доигрались мы!»

Однажды пришло к нам в сени народу страсть: квартальный, будочники, бабы эти и Ефремов, ундер... Потребовали к суду: сейчас Ефремов этот солдат – усищи... во! – снимает перед кварталным фуражку и говорит:

«Ваше высокородие! Я богу и царю служу верой и правдой, извольте посмотреть, нашивка, и опять же царь билет мне на красной бумаге дал, это чего-нибудь стоит».

«Говори, в чем дело!»

«А в том дело-с, что весь этот дом вот эти мальчонки (мы-то) разнесли... Особливо один, Ершом звать...»

«Это я!» – сказал Ерш.

«Вот он-с! Я, лопни глаза, сам видел, как он крышу с дому воротил... Будь я проклят!»

«А ты, Ефремов, – сказал Ерш, – забыл, как ты меня дубиной охаживал?»

«За то я его, васскородие, точно, с осторожностью коснулся, чтобы он казенное добро не воровал! Вы, васскородие, с

них, с мальчонков, да и с хозяина-то ихнего требуйте, а мы, видит бог, ни в чем не причинны!»

И стали нас с этого времени побеспокоивать. Уж и не помню, как после того все мы разбрелись – кто куда. Куда Ерш девался – так и не знаю.

Ушел я от хозяина и, признаться сказать, горько заплакал. Господи, думаю, что я такое? Кто мне на всем свете есть помощник? Никого не было. Беззащитен я в то время был вполне, тем прискорбнее, что мастерства-то совсем не знал никакого: правда, мог кое-как самоварную ножку подпилком обойти, да ведь уж это такое дело, что и малый ребенок не испортит; потому никак невозможно испортить. Только всего и знал-то я... Куда я с этими науками денусь?..

...Года четыре шатался я с одной фабрики на другую, с завода на завод: там одно узнаешь, там другое... Все настоящего-то мастерства не получил; а шатался-то я, собственно, потому, что уж очень было мне отвратительно хозяйское безобразие: что он мне деньги какие-нибудь пустяковые платит, то должен я, изволите видеть, совсем себя забыть; до того мучения было, что, верите ли, выйдешь в субботу с расчета, посмотришь на народ-то, как все движется, огоньки горят, так весь и расстроишься, и смеешься, и чего-то будто радостно, и не подберешь об этом никакого стоящего понятия, а как-то, не думавши, глядь – в кабаке! Было мне очень оскорбительно, что я почесть что (сами изволите знать) благородный и такое терплю гонение, и зачем только живу – сам

не знаю... «Ах, – думал я в то время, – ежели бы только благородные люди узнали, что я тоже благородный, сейчас бы они со мной подружились и стали бы меня уважать!» Начал я маленько опоминаться, ребят своих сторониться, ну все же справиться не мог, потому платят на ассигнации четыре рубля в неделю, извольте прокормиться! Наши ребята по этому случаю всё жалованье пропивали. Потому некуда его деть...

А мне, по моему благородству, куда ж с этим жалованьем деваться?.. Хотелось мне жить, хошь бы как приказный живет: сейчас у него гости, трубочку покуривает, как ваше здоровье? тихо, чудесно... Стал я думать так: стану-ка я один работать. На себя... Думаю себе, тогда и барыш мне сполна идет, и буду я жить с рассудком. Был у меня товарищ Алеша Зуев, друг и приятель. Сказал я ему об эфтим, и он обрадовался, – «лучше нет, говорит. Давай вместе». – «Давай...»

Кой-как да кой-как склотились мы на станчишко, взялись пистолеты работать. Наняли себе конурку, стали жить. Трудно нам, по правде сказать, пришлось слесарным мастерством заняться. Дело новое; ну, все же радовался я, что теперича совсем я по-благородному жить начну, потихоньку; между прочим, полагаю, что от пьянства я уж избавлен... Однако же нет. Живши более шести лет в этом пьянстве да буянстве, в прижиме да нажиме, достаточно я свое благородство исказил...

Случай такой случился.

Зачалась эта у нас работа, а наипаче того пошла дружба:

такая дружба, такая дружба, страсть! Мало мне своего дела делать, все я стараюсь приятелю угодить... Зуев еще пуще того надсдается... Так он тихости и покою обрадовался, что когда, бывало, сидим мы с ним на завалинке, все он меня благодарит.

Попросит он меня стих какой сказать (я стихов много знаю), я ему стих скажу; и так я, признаться, умею этими стихами человека пробрать, даже невероятно. Я главное стараюсь жалобными; голос у меня для этого есть тонкий такой. Так я, бывало, этого Алеху стихом проберу, что только вздыхает он и говорит:

«Господи! Подумаешь, подумаешь, удивление!»

В ту пору ему кажется, словно он самого себя впервой увидел, начнет думать, только ужасается: «Господи, говорит, что ж это такое?.. Как же это все?..» И на дерево смотрит и на небо. И никак ничего не сообразит... Так он в этой жисти заржавел. Тогда как я, при моем благородстве, довольно хорошо все это понимал: примерно – дерево... Я это мог.

Я его стихом пробираю, – он мне ночью сказку какую расскажет. Сказки он богато сказывал.

Ну, истинно говорю, шла у нас дружба. Настояще как два ангела жили.

Только что же? Продали мы работу, первую, и с радости маленечко того – пивца... Дальше да больше – глядь, и шибко подгуляли... Наутро тоже. Потом того, Алеха сломал у моего замка пробой и выкрал все мое имущество. Выкрал и

пропил...

Жестоко я этим оскорбился, хоть, признаться по совести, сам я тоже (уж истинно не знаю, как меня бог не защитил!) у Алехи из сундука выхватил, что было, и тоже пропил... Хмельны мы были; оскорбившись, подхожу я к Алехе, на улице ветрел, и в досаде на его такой поступок говорю:

«Ты как смел воровать?»

«Ты сам вор!»

«Врешь – ты!»

«Ка-ак, я вор!»

Кэ-эк я-а е-в-в-во-о!..

На оборотку сколупнул он меня торчмя головой в канаву; упал я, лежу и думаю: «Господи! Что ж это такое?» Ничего не пойму!.. Осерчал я, вскочил и так ему заговорил:

«Ты зачем в мой сундук залез?»

«А ты зачем?»

«Нет, ты-то зачем?»

«Нет, зачем» ты?..»

Я развернулся... р-раз!

Потому смертельная мне была обида, что я так себя унизил и никак настоящего первоначатия нашему безобразию не сыщу... Теперь я так думаю, что ежели который на двадцати языках знает, заставить его это дело расчесть, и то он пARDону попросит...

Тут меня Алеха, признаться, помя-ал!..

После этого Алеха закрутился где-то. Сижу я один дома

тверезый и все раздумываю: «Как же это я-то?» И стало мне, признаться сказать, от таких размышлений смерть как жутко...

Стал я кажинного человека опасаться: что у него на уме?

Может, так-то говорит он с тобой и по душе быдто, а за место того что он сделает? Господь его знает!

Не дознавшись ничего в своем уме, вспомнил я свое благородство и тут же перед господом побожился, что с этого времени ни друзей, ни недругов промежду нашим мастеровым народом не заведу; и стал я вроде как затворник: в прежнее время хоть с хозяевами слово какое скажешь... или с ихней свояченицей, девушкой... Очень она мне в то время нравилась, но чтобы у нас промежду собой что-нибудь этакое происходило – ни боже мой! (Мне, я вам доложу, на этот счет верно такое несчастье: чуть мало-мало какое касание... – «нет, ты, говорит, женись!») Так, докладываю вам, в прежнее время хоть с нею... А теперича, даже когда она прибежала ко мне одна в мастерскую и почала реветь, будто цирюльник с ней неладно поступил, обманом, то я тотчас же ее из мастерской удалил и дверь захлопнул.

Да в самом деле? Что я ввяжусь?.. Опять, кто их разберет, а мне по тюрьмам шататься некогда...

Но все же я ее пожалел!

Случалось еще, что через эту мою робость тогдашнюю немало я ругательств перенес. Иду, примерно, по переулку, вдруг солдат попадается.

«Не знаешь ли, спрашивает, милый человек, где тут Дарья-солдатка?» На это я только молчанием ему отвечаю: потому, ну-ка он скажет: «А, знаешь! а пойдём-кось, скажет, в часть:

Дарья-то эта фальшивыми делами занималась!» Так, по глупости своей, опасался тогда... Начинает меня солдат поливать – я все не оборачиваюсь, иду; он того злее – я все иду... Грозит, грозит, наконец я быдто не вытерплю: повернусь – «вот я, мол, тебе...». Тою же минутою солдат исчезал, ровно сквозь землю проваливался.

Начал я маленько разгадку понимать!

Подходит время, надо что-нибудь пробовать! Все я мытарства видел, ото всего в убытке остался... Порешил я работать один; трудно, ну, по крайней мере, хоть какой-нибудь жизни добиться можно. Тут я, признаться, братцу и маменьке в ножки поклонился, дали они мне денег – с Зуевым за его половину в станке расчесться... Стал я Алешке деньги отдавать, плачет малый!

«Ах, – говорит, – Проша, как ты чуден! Ну, пьян человек, чужое добро пропил, эко дело! А ты, – говорит, – уж и бог знает что... Лучше бы в тыщу раз стали мы с тобой опять дело делать».

«Нет, – говорю, – шалишь!»

«Опять бы песни, стих бы какой... Неужто ж я зверь какой?»

Я все понимаю это... А уж против нашей жизни не пой-

дешь: вот я теперь чуёку пропил, должен я стараться другую выработать».

«И другую, – говорю, – пропьешь».

«Может, и другую... Я почему знаю?... Я вперед ни минутки из своей жизни угадать не могу...»

Жалко мне его стало, но, поскрепившись, я его спросил:

«Куда мое-то пальто девал?..»

«Я почему знаю!.. Я об этом тебе ничего не могу сказать...»

«Эх, Проша!»

Однако же я с ним жить не стал. Страсть как мне было тяжело одному! Две недели с неумелых-то рук над работой покоптеть, а выручки, барышу то есть, – три рубля. С чего тут жить? Ну, кое-как перебивался, платишко начал заводить, например, манишку, все такое, нельзя! Познакомился с чиновником... Кой-как! К братцу я в то время не ходил, или ежели случится, то очень редко, по той причине, что кроме уныния завели они другую Сибирь: гитару... Иной человек возьмется на гитаре-то, восхищение, душа радуется, но братец мой изо всего муку-мученскую делал. Постановит палец на струне у самого верха и начнет его спускать даже до самого низу. Воеет струна-то, чистая смерть! По этому случаю я у него не бывал.

Начал было я в это время Алеху Зуева вспоминать, не позвать ли, мол? А он, не долго думая, и сам ко мне привалил... Пьяный-распьяный.

«Ты! – заорал на меня, – подлекарь! подавай деньги!»

«Как-кие, – говорю, – деньги?»

«Ты разговоры-то не разговаривай, подавай... Какие! – передразнивает, – за станок! вон какие!»

Тут я, признаться сказать, в такое остервенение вошел, что, не помня себя, тотчас за горло его сцапал и грохнул на землю.

Вижу: малому смерть, но все же я еще ему коленкой в грудь нажал, и как же я его в это время полыскал!.. Ах, как я над ним все свои оскорбления выместил! Зажал ему горло и знаю, что ему теперича ни дохнуть, – между прочим, кричу на него: «говор-ри!»

«Пр-роша, – хрипит... – П-пус-с-сти!»

«Говор-ри! Анафема!..»

В то время я себя не помнил и истинно мучил его, как зверь... С час места я с ним хлопотал, наконец пустил... Отрезвел он... Помню, стоит этак-то в дверях, картузишком встряхивает...

«Сейчас драться, – говорит, – нет у тебя языка сказать-то? Право! За го-орло!»

«Ладно, – говорю, – мне к суду с тобой идти не время!»

«Я почем знаю! «деньги», «получил»... Я почем знаю?»

«Дьявол! кто ж у вас знать-то будет? Че-ерт!»

«Я почем знаю... За горло!.. Эко диво какое!»

«Проваливай!»

«Обрадовался!..»

Кой-как ушел он... И, между прочим, скажу, что о сво-

ем добре Зуев и не спросил, потому знал он, что искать его негде, ибо где его сыщешь?.. Вздохнул я маленько после таких забот, и, говорю вам по чистой совести, стало мне страсть как легко на душе, когда я его победил... Тут уж я совсем понял! Из-за того жить, чтобы выработать да пропить? На это я не согласен!..

Н-нет-с... Мне желательно жить по-людски... С этим я и решил, что в чернонародии – без разговору, ручная расправа, а в благородстве – всякое почтение...

II. Первый опыт

Еще немного подобных случаев, узаконявших силу кулака в глазах благородного человека, и физиономия Прохора Порфирыча приняла тот оттенок «себе на уме», который так часто проглядывает в умных, умеющих обделывать свои дела русских людях: деревенских дворниках, прасолах, которых простой, добродушный и оплетаемый народ потихоньку называет жилами, жидоморами и проч. По ходу дела Прохор Порфирыч тоже был жидомор, но жидомор чуть-чуть не благородный, вежливый, что, впрочем, с большею подробностью мы увидим впоследствии. Мысль о разживе не покидала его: то представлялось ему, что идет он по улице, вдруг лежат деньги, «отлично бы, хорошо», – сладко думал он. По ночам ему снились тоже деньги. Кто-то выкладывал перед ним вороха и сизых и серых бумажек и говорил: «получай!» Прохор Порфирыч в ужасе раскрывал глаза и узнавал свою холодную комнату...

– Ах, чтоб тебе провалиться! – с досадой вскрикивал он тогда.

А времена все трудней становились. Помещики съезжались; опустели трактиры, цыганские певицы напрасно поджидали «графчика», зевая и пощипывая струны гитары. Торговля приутихла всякая: рабочие, наподобие Зуева, шли охотой в солдаты.

Шли также и неохотой.

– Ах, теперича бы силенки! Ах бы хоть немножечко!.. – тосковал в эту пору Порфирыч.

Во время такой страстной жажды лишнего гривенника, своего угла, вообще во время жажды обдeldывать свои дела умер растеряевский барин (отец Прохора Порфирыча). Дело случилось темным вечером. Поднялась суматоха, явились душеприказчики, дали знать Порфирычу. При этом известии в глазах его сразу, мгновенно прибавилась какая-то новая, острая черта, какие являются в решительные минуты. Он сразу понял, что настало время. Одевшись в свое драповое пальто с карманами назад, он почему-то поднял воротник, сплюснул шапку, и строгая фигура его изменилась в какую-то юркую, готовую нырнуть и провалиться сквозь землю, когда это понадобится.

Порфирыч делал первый шаг.

...Вечером в нижних окнах дома «барина», долго стоявших забитыми наглухо, светился огонь. На столе лежал покойник, в мундире; две длинные седые косицы падали на подушку; стояли высокие медные подсвечники; солдаты, бабы пришли смотреть «упокойника». Унылая фигура последней фаворитки барина, Лизаветы Алексеевны, в огромной атласной шляпе, с заплаканными глазами и руками, державшими на сухой груди платок, ныряла в толпе там и сям, пробивая плечом дорогу к одному из душеприказчиков.

– Семен Иваныч, – слезливо говорила она, – неизвестно...

мне-то?... хоть что-нибудь?

– Я вам сто тысяч раз говорю – не знаю!

– Не сердитесь! ради бога, не сердитесь!.. Голубчик!

– Что вы пристаёте? Сидите и дожидайтесь!

– Буду, буду, буду! Боже мой! Ах, господи!

Лизавета Алексеевна садилась в угол, тревожно бросая глазами туда и сюда. Заметив, что душеприказчики разговорились, она минуточку подумала и вдруг без шума шмыгнула в другую комнату.

Горели свечи, лампадки. Дьячок с широкой спиной приготавливался читать псалтырь, переступая в углу тяжёлыми сапогами. В виду покойника толковали шепотом. Было упомянуто о том, что хоть и все мы помрем, но всё «как-то»... к этому присовокуплялось: «ни князи... ни друзи...» А затем, после глубокого вздоха, следовал какой-нибудь совершенно уже практический вопрос, хотя тоже шепотом:

– А вот, между прочим, не уступите ли вы мне рыжего мерина? под водовозку?

– Ох, мерина, мерина! – глубоко вздыхал душеприказчик, думавший, может быть, крепкую думу о том же мерине. – Погодите, Христа ради, немножечко!

Дьячок кашлянул и зачитал:

– Блажен му-у-у-у...

– Караул!!! Краул! Стой! – раздалось под окнами.

– Господи Иисусе Христе! Что такое? – зашептала публика, и все бросились на улицу...

– Стой! Стой! Н-нет! ввррешь! Брат! брат!

Народ, сбежавшийся со свечами, увидел следующую сцену.

Прохор Порфирыч старался вырвать из рук Лизаветы Алексеевны огромный узел, в который та вцепилась и замерла.

Из узла сыпались чашки, стаканы, серебряные ложки и проч.

– Брат, брат! Краденое!..

– Мадам, – сказал значительно душеприказчик, – пожалуйте прочь!..

Прохор Порфирыч налег на врага узлом и потом сразу рванул его к себе. Лизавета Алексеевна грохнулась оземь.

Толпа повалила вслед за победителем. Надо всеми колыхался огромный узел.

– Как? воровать? – громче всех кричал Порфирыч. – Нет, я тебя не допущу! Извини!..

Узел свалили на крыльцо с рук на руки душеприказчику, который говорил Порфирычу:

– Спасибо, спасибо, брат!

– Помилуйте, васскородие, – говорил Прохор Порфирыч, обнажая голову и в ужасе раздвигая руки. – Как же эт-то только возможно? Я – все меры!.. Ка-ак? воровать?.. Нет, это уж оставь!

– Ты тут ее схватил?

– Да тут-с, васскородие, как есть у самых у ворот. Барр-

ское добро, д-да боже меня избави!.. Что тебе по бумаге вышло – господь с тобой, получай!

– То другое дело!

– Да-с! то совсем другое дело! А то скажите на милость!

– Спасибо! Молодец!

– Всей душой.

Порфирыч осторожно пощупал у себя за пазухой и подумал: «здесь!»

– Я, васскородие, видит бог!

Душеприказчик ушел. Порфирыч долго еще толковал брату: «А то, скажите на милость, такой поступок... целый узел, не-э-эт!» Потом пошел под сарай, запихнул между дров какойто сверток, подхваченный в бою, и, возвращаясь оттуда, говорил:

– Каак? воровать? Нет, ты это оставь!

Лизавета Алексеевна долго билась и истерически рыдала за воротами:

– Из-за чего? Из-за чего? Из-за чего я всю-то молодость – всю, всю, всю... Господи! Грех-то! Грех-то!..

Вдруг она вскочила, отряхнула платье, утерла глаза и быстро направилась в комнату.

– Мадам! – говорил душеприказчик, – пожалуйста отсюда вон... после таких поступков!

– Н-не пойду!..

Лизавета Алексеевна села на стул, прижалась спиной к углу, плотно сложила руки и вообще решила «ни за что на

свете» не покидать своего места.

– С вашим поведением здесь не место... Здесь покойник.

– Н-не пойду! н-не пойду! – твердила Лизавета Алексеевна, дрожа.

– А! не пойдете...

– Голубчик!

Она бросилась на колени.

– Есть в вас бог! не гоните меня! Ради бога... Я ведь с ним, с покойником-то, восемь лет... Ах, ах, ах, ах!

Душеприказчик ушел, махнув рукою.

Поздно вечером душеприказчик, отправляясь спать, поручил за всем надсматривать Порфирычу; на унылого, нерасторопного Семена надежды было мало: где-нибудь непременно заснет. Разошлись все, даже и Лизавета Алексеевна. Прохор Порфирыч вступил в свои права: надсматривал и распорядился. В кухне дожидалась приказаний стряпуха. Порфирыч, для храбрости «пропустивший» рюмочку-другую водки, вступил с ней в разговор.

– Как в первых домах, – говорил он, – так уж, сделайте милость, чтобы и у нас.

– Слава богу, на своем веку видала, бог привел, разные дома... Вот купцы умирали Сушкины, два брата.

– Д-да-с! Потому наш дом тоже, слава богу... Будьте покойны!

– Не в первый раз... На сколько, позвольте спросить, персон?

– Персон, благодарение богу, будет довольно! Нас весь город знает...

– Дай бог, а завтра утренничком надуть пораньше грибнова и опять крахмалу для киселя.

– И грибнова! Мы этим не рассчитываем.

Молчание.

– Я полагаю, – говорит стряпуха, – кисель-то с клеем запустить?

– И с клеем. Как лучше... как в первых домах.

– А не то, ежели изволите знать, со свечкой для красоты.

– Как в первых домах! И с клеем и со свечкой... Запускайте, как угодно!.. чтобы лучше!.. Мы не поскупимся.

Бодрствование во время ночи Прохор Порфирыч тоже выдержал вполне. Расставшись со стряпухой, он направился в дом, уговорив братца лечь спать.

– И то! – сказал братец и лег на крыльцо в кухне.

В освещенной комнате раздавалось тягучее чтение псалтыря, прерываемое понюшками табаку. Порфирыч босиком тихонько подходит к дьячку, засунув одну руку с чем-то под полу, и, придерживая это «нечто» сверху другой рукой, шепчет:

– Благодетель!

Дьячок обернулся.

– Ну-ко!

Дьячок сообразил и произнес:

– Вот это благодарю! – Тут он нагнулся к уху Порфирычу

и зашептал: – Грудь! На грудь ударяет ду-ду-ду-то!..

– Прочистит!

– Это так! Оно очистку дает! В случае там в нутре что-нибудь...

– Вот, вот! Она ее в то время сразу. Ну-ко!

Пола полегоньку приподнимается; дьячок говорит:

– О, да много!

– Что там!

Нечто поступало в дрожавшие руки дьячка.

– Сольцы, сольцы!

– Цс-с-с... Сию минуту.

– Гм-м... кхе!

– Готово!

– Ах, благодетель! Я тебе, друг, что скажу, – прожевывая, шептал дьячок, – ты по какой части?

– Слесарь.

– А мы по церковной части. Я тебе что скажу: наше дело – хочешь не хочешь!

Дьячок пожал плечами.

– Смерть!

– Ты думаешь, всё на боку да на боку лежим? Нет, брат!

Долго идет самое дружественное шептание. В комнате раздается опять тягучее чтение.

Прохор Порфирыч в это время уже в мезонине; он нагибается под кровать, кряхтя, что-то достает оттуда, потом на цыпочках спускается с лестницы и идет через двор к саду.

Брешет собака...

– Черной!

Порфирыч посвистывает.

– Как! воровать? – говорит он, возвращаясь из сада и проходя мимо брата. – Нет, гораздо будет лучше, ежели ты это оставишь... Братец, не спите?

– О-ох!.. Не сплю! – вздыхает Семен, поворачиваясь на своем ложе.

Порфирыч подсаживается к нему, тоже вздыхает, присо-вокупляя: «ох, горько, горько!», и затем тянется долгий шепот Порфирыча:

– Ах ты, говорю... Да как же ты, говорю, только это в мысль свою впустить могла?

Безлунная ночь стоит над городом; небо очистилось, в воздухе сыро. В стороне по небу скатилась звезда, оставив светлый след.

– О-ох, господи! – шепчет кто-то в кухне.

На крыльце явилась стряпуха.

– Я все беспокоюсь, – заговорила она, – как кисель?

– Как в первых домах!

– Опять можно и полосами его пустить, с клюквой, как угодно?

– Как вам угодно, и с клюквой!.. Как в первых домах!

– Я все беспокоюсь! – заключила стряпуха, уходя.

Усталый дьячок еще медленнее читал псалтырь; из отворенного окна на него изредка налетал свежий воздух.

– С-с-с-с-с... – раздалось под окном.

Дьячок обернулся.

Прохор Порфирыч облокотился на подоконник локтями, прищуривал глаз и кивал головой в сторону.

– Не мешает! – сказал дьячок.

Следовало повторение «нечто» и опять монотонное чтение.

Прохор Порфирыч снова исчезал куда-то. Дьячок, у которого начинали слипаться веки, иногда закрывал глаза и прерывал чтение, пошатываясь вперед и назад. Тишина была мертвая.

Вдруг где-нибудь, не то вверху, не то внизу, с каким-то нытьем щелкал замок. Дьячок выпрямлялся, широко раскрывал глаза и едва успевал произнести два-три слова, как начинал дремать снова.

Послышалось какое-то шуршание. Дьячок снова встрепенулся.

– Я, я, я! – успокоительно шептал из сеней Порфирыч, осторожно таща по земле какую-то шкуру, или ковер, или шинель. – Завтра, брат, и без того хлопот полон рот!

Начинали петь петухи. Дьячок совсем заснул, положив голову на кожаный аналой и приседая. Его разбудил какой-то шум, происходивший на дворе... В окно он увидел Прохора Порфирыча, расправлявшегося с Лизаветой Алексеевной, которая таки не вытерпела до утра и тихонько успела пробраться в мезонин.

– Уйду! уйду! уйду... Ради бога! Ах, не увечьте! Сама! сама! сама!

С такую же точно рассудительностью проводил Прохор Порфирыч и следующие дни; в день похорон, почти в одно и то же время, он распорядился в кухне, подавал к столу тарелки, бежал за водкой, утешал маменьку, выводил из-за стола пьяного, подтягивал вместе со всеми «вечную память!» и тут же засовывал в карман какую-то вещь, присовокупляя про себя: «ременная, аглицкая» и т. д. Без Прохора Порфирыча никто не могдохнуть; отовсюду слышались голоса: «Порфирыч, Прохор Порфирыч!», и в ответ на них Порфирыч беспрестанно сыпал: «С-сию мину-ту-с, с-сию мину-ту-с... Иду, иду, иду!»

Кончились похороны, дом опустел: везде были открыты окна и двери, ветер свободно гулял повсюду, вытаскивая в отворенное итальянское окно мезонина ветхую зеленую стору и подгоняя ее под самый князек крыши; в комнате, где так долго умирал барин, было все взрыто: старые тюфяки и перины, рыжие парики с следами какой-то масляной грязи вместо помады, банки с какими-то мазями, прокопченные куревом трубки и чубуки, все это наполняло душу отвращением, гнало из комнаты, уже опустевшей. Внизу и вверху лопались обои, и за ними то и дело шумели потоки сору.

Прохор Порфирыч это время постоянно находился при маменьке, изредка заглядывая в дом, где через несколько времени начался аукцион. Порфирыч долго рассматривал

вещи, долго молчал, и когда решался наконец просунуть в толпу голову и произнести «пяточок-с», то это значило, что ему попалась такая штука, за которую люди знающие, «охотники», дадут несравненно больше. Зацепив какую-нибудь подобную вещицу, он скромно возвращался к маменьке, покупал ей на свои деньги водку (малиновую сладенькую любила Глафира) и к чаю брал у растеряевского лавочника Трифона тоже любимые Глафирой гречские орехи и винные ягоды...

– Кушайте, маменька! сделайте милость, – говорил он.

– Не могу, Прошенька, я этого чаю глотка проглотить, чтобы без эвтого, без сладкого... Изюмцу или бы чего...

– Кушайте, на доброе здоровье, не томитесь...

– Что ж это, Проша, будет ли нам какое награждение от покойника?..

– Надо быть. Я так думаю, чем-нибудь же должен он свое поведение оплатить... Надо за этими крюками-то поглядывать!.. – намекал он на душеприказчиков.

– То-то, ты, Проша, посматривай!.. Поглядывай, как бы они чего не наплели там...

– Авось бог! Кушайте, маменька, кушайте!

После аукциона душеприказчик позвал Прохора Порфирыча наверх.

– А, ты! – сказал чиновник, когда Порфирыч вошел и поклонился. – Вот вас барин наградил.

Порфирыч осторожно подвинулся к столу и упорно смот-

рел в валявшуюся там бумагу. Он что-то прочитал в ней.

– Вот деньги. Отдай матери.

– Покорнейше благодарим, васскородие!

Порфирыч поцеловал у чиновника руку...

– Ну, ступай!

– Слушаю-с...

Порфирыч стал у двери.

– Больше ничего; ступай!

– Слушаю, васскородие!

И все-таки остался у двери.

– Тебе что-нибудь нужно?

– Так точно-с; потому, васскородие, самые пустые деньги

вы изволили отдать-с...

– Как?

– Так точно-с... Мы это знаем-с. Сделайте милость, извините... барин по бумаге отделили третью часть на сирот; следовательно, пожалуйста нам полностью. На что нам такая безделица? Вы, васскородие, сделайте вашу милость, доложите, что следоват...

– Ступ-пай! Я тебе говорю!

– Слушаю-с...

И опять-таки стал у двери.

– Ты не уйдешь? – через несколько минут злобно закричал чиновник.

– Сделайте божескую милость, васскородие, пожалуйста деньги-с полностью!

– Вон!

– Я, васскородие, по суду буду искать... Как вам будет угодно!..

Грозное молчание...

– Как вам угодно-с... Я к господину губернатору... Опять же мы и Федор Федорыча довольно хорошо знаем... Как вам угодно!

– Я сам Федор Федорыч! Что ты мне грозишь? Плевать я на него хотел!

– Как вам будет угодно... Ну, только я этого грабежа не оставлю!

Порфирыч, весь зеленый от гнева, спускался с лестницы.

Чиновник нагнал его и бросил в лицо пачкой бумажек.

– Ты деньги-то не швыряй! – заговорил Порфирыч во все горло. – Ты свою рожу-то береги...

– Дьявол! – слышалось сверху...

Блистательная победа над чиновником завершилась не менее блистательной попойкой в кухне. Брат Порфирыча уезжал в деревню, в конторщики; в кухне по этому случаю кипели самовары, на столе стояли полуштофы, валялись орехи, винные ягоды, рыба, куски ветчины, и шло веселье и плач.

Брат Порфирыча, никогда не пивший водки, сильно охмелел с двух рюмок, лез обниматься и кричал:

– Брат!.. Бр-рат! Я доверяю!..

– Проша! – приставала хмельная мать...

– Господи! – умиленно говорил Порфирыч... – Братец!

– Брат!

– Братец! видит бог!

– Брат! Я доверяю! Ман-нька!.. Брат!..

– Всей душой!.. Боже мой!

– Брат!

Порфирыч обнимался с братом, прижимая к его спине полштоф.

– Брат!

Лакей совсем осовел и валялся как сноп, не переставая повторять: «Бр-рат!» Наконец его ввалили вместе с гитарой в мужичью повозку, присланную из деревни, и Прохор Порфирыч остался с матерью вдвоем...

– Ну, маменька, – говорил он ей на другой день. – Надо думать!.. Не сегодня-завтра в шею погонят...

– О-ох, надо, надо!

– Я так думаю, домик бы? Деньги, они, не увидишь, разбегутся...

– Уж как ты знаешь!.. Куда мне, я не пойму ничего... Еще избыют, пожалуй, и суда не сыщешь... Мне бы где свой угол...

– Я так думаю, домик... Я похлопочу... По крайности будет у вас свое имение...

– О-ох, давно своего-то не было!..

– То-то и есть! Братец, дай бог здоровья, доверяют мне.

– Да я-то нешто зверь какой?.. Ты меня не ограбишь... Не

выдашь... Из моего дому не выгонишь...

– Пом-милуйте!.. Ведь тоже вашего заводу-то. Слава богу! – И Прохор Порфирыч целовал у маменьки ручку.

Душеприказчик ходил с купцами вокруг дома умершего барина, пробовал стены топором, мерял землю цепью и, сердито постукивая в кухонное окно, говорил:

– Выбирайтесь, выбирайтесь, выгоню!

– Не беспокойтесь, сделайте вашу милость, уйдем-с!.. – отвечал Прохор Порфирыч.

Несколько дней он употребил на отыскивание дома, наконец нашел. В лачуге жила одна старая баба, никогда не показывавшаяся на свет божий. Ходили слухи, что она с мужем занималась когда-то «нехорошими» делами, вследствие чего муж и умер без покаяния, без причастия. Не захотел. Поэтому старуху все боялись, и никто не старался узнать, что с ней делается: в окнах у нее никогда не светился огонь, печь не топилась, и чем питалась она, тоже было неизвестно. Умри старуха – все бы побоялись войти к ней. Но Прохор Порфирыч зашел. Старуха превратилась в какое-то совершенно одичалое существо. Долго не понимала она, что такое толкует ей Порфирыч, но когда он показал ей деньги, старуха заговорила.

– Давай! давай!.. Я зарюю...

– А сама уйдешь?

– Давай... Уйду! уйду!..

Кое-как Порфирыч наконец растолковал ей, в чем дело,

и дал целковый. Старуха с жадностью схватила его, обернула тряпками, спрятала за пазуху и забилась на печь в самый угол...

После того как был отыскан дом, действия Прохора Порфирыча приняли какой-то таинственный характер. Притащив матери из кабака сладенькой, он просил у ней позволения сходить на минутку в одно место и поспешно направился в какой-то глухой закоулок. Здесь жил известный городской клязник приказный. Прохор Порфирыч вежливо раскланялся с хозяином и, отведя его к столу, объявил, в чем дело.

– Однако, извините меня, – говорил приказный, внимательно выслушав шепот Порфирыча, – как вы молоды, и какая у вас в душе подлость!

– Что делать! время не такое!..

– В первый раз в таких молодых летах встречаю такую низость...

– А я так думаю, надо бы мне бога благодарить?

– Раненько-с... Чего доброго, еще нашему брату горло перекусите... вот обидно что!

– На этом будьте покойны. Ну, а дело через это все-таки, я полагаю, само собой?

– Это до дела не касающе. Вы остаетесь при вашем свинстве...

– А вы при вашем!..

– А я-с при моем. Посылайте за полштофом!

Приказный с шумом перевернул лист бумаги.

С этого дня между Порфирычем и приказным начались какие-то непостижимые отношения: они никогда не были вместе, но и не разлучались; в то время, когда Порфирыч сидел с маменькой и угощал ее, вдруг в окне, как молния, мелькала рожа приказного, делавшая какие-то ужимки и гримасы.

Порфирыч срывал с гвоздя фуражку и исчезал. А то можно было их встретить еще так: Порфирыч стоял на одном конце улицы, а приказный на другом, и разговор шел тоже непостижимыми жестами: приказный махал куда-то головой в сторону, Порфирыч показывал ему кулак; в ответ приказный тряс головой, крестился и вынимал из бокового кармана бумагу...

Порфирыч почему-то плевал сердито в землю, но шел к приказному. Приказный, стараясь вызвать Порфирыча ночью, громко кашлял под окном или начинал петь. Днем стоило Порфирычу выйти на улицу, как тотчас же раздавалось откудато «с-с-с-с... с-с-с-с...» и в стороне показывалась фигура приказного, поднимавшего почему-то три пальца; Порфирыч также иногда показывал ему в ответ три пальца, только в другой комбинации... После таких таинственных сцен приказный на минуту зачем-то явился в кухне у Глафиры вместе с Прохором Порфирычем, жался у двери, а когда Глафира сказала сыну: «да я этого ничего не понимаю», приказный вдруг развернул на столе бумагу, опроки-

нулся над ней, зачеркал пером и что-то заговорил. Та же сцена произошла в доме старухи, у которой покупали дом. Затем приятели снова разошлись в разные стороны. Стоя на крыльце гражданской палаты, Порфирыч манил приказного, торчавшего где-то, бог знает, как далеко... Приказный показал что-то руками, Порфирыч еще поманил. Тогда приказный направился к палате зигзагами, почему-то миновал палатское крыльцо, потом повернул назад, поплелся по стенке и, снова поравнявшись с крыльцом, вдруг юркнул туда, как рыба в воду. Порфирыч исчез за ним...

Результатом таких таинственных деяний провинциальной адвокатуры было то, что Прохор Порфирыч воротился из палаты хмельной, постоянно улыбающийся, выложил перед матерью из кармана совершенно смятые ягоды, яйца и все хихикал.

– Все ли, батюшка, Прошенька, теперича-то...

– В-всссе! Будьте покойны! Кушайте на здоровье... Теперь... уж все! уж теперича, маменька, вполне!

– Ну, и слава богу!

– С-слава богу!.. Эт-то справедливо. Да-с! уж все!..

Порфирыч вдруг хихикнул.

– Маменька! – сказал он, зажимая рукою рот и фыркавая... – А что я вам скажу... Дом-то... Дом-то, ведь он мой-с!..

– Ах!.. – вскрикнула Глафира и обомлела...

Прохор Порфирыч попробовал было сделать серьезную

физиономию, но вдруг фыркнул и рванулся в дверь, повалив на ходу скамейку и оставив Глафиру в каком-то оцепенении.

Скоро Глафира и Прохор Порфирыч перебрались в купленную лачугу. Глафира заливалась слезами и кричала на всю улицу.

– Маменька, – сказал на это Порфирыч строго, – ежели вы так продолжать будете, я, ей-богу, в полицию не постоюсь...

После этого Порфирыч перенес ругань от брата, нарочно приехавшего из деревни.

– Я с тобой, с подлецом, и говорить-то бог знает чего не возьму! – заключил свою речь брат и пошел к двери...

– Сейчас самовар готов, братец... – произнес все время молчавший Порфирыч и проводил разгневанного брата до ворот.

Преодолев такие трудности, Порфирыч приступил к старухе:

– Ну, старушка, ступай с богом...

– Что ты, очумел, что ли?

– Как очумел? дом мой! ступайте с вашим капиталом.

– Куда я пойду? Да я тебе все глаза выцарапаю, только ты заикнись.

Порфирыч порешил это дело повести через полицию, а старуха безмолвно скорчилась на печи.

Сознав наконец себя полным хозяином, Прохор Порфирыч с истинным благоговением произнес:

– Боже! Благодарю тя!..

III. Дела и знакомства

Так поселился Прохор Порфирыч в Растеряевой улице.

Ветхая и забытая изба старухи оживилась, приосанилась; около нее несколько дней возились два поденщика: отставной раненый солдат, с засученными рукавами и панталонами, густо смазал ее глиной, таская за собой наполненное глиною корыто и шайку, из которой он по временам брызгал водою на стену; плотник, с своей стороны, усердно охаживал избу кругом, тщательно выбирая местечко, куда бы, не опасаясь падения избы, можно было загнать хороший гвоздь. Скоро ярко выбеленная изба пестрела повсюду множеством светлых планок, досок, дощатых четырехугольников, ярко вылежавших на почерневших и полусгнивших досках крыши, ворот и забора. И, несмотря на такие старания, изба все-таки напоминала физиономию обезьяны, если посмотреть на нее сбоку: нижняя выпятившаяся челюсть соответствовала выпятившимся бревнам в фундаменте, вследствие чего окна верхним концом уходили в глубь избы, а нижним выпирали наружу. В одно и то же время с преобразованием наружного вида избы шли и внутренние реформы. Прохор Порфирыч неумоимо вводил разные «положения»; для маменьки было «положение»: знать свое место, сидеть и дожидаться последнего часу; изюмы и сладкие малиновые наливки были отменены – «не такое время»; насчет старухи, которую не выжи-

ла никакая полиция, было положение «не касаться»: «хочет издохнуть – издыхай, не хочет – как угодно»; из домашних харчей ей не отпускалось ничего; маменька, убитая сыном, выговорила у него дозволение хотя в спокойе доживать век и не трепаться около печки; Прохор Порфирыч попятился, припомнил маменьке ее недобропорядочную жизнь, но все-таки взял в стряпухи бабу, которая была тоже оплетена положениями: солдат не водить и не таскаться по соседям – «нечего слоны слонять» попусту; баба тотчас заступилась за свое правое дело и выговорила только одного солдата, и тот обещался жениться на ней после Святой.

Скоро явился солдат, расстегнул сюртук, закурил трубку, начал поплевывать по сторонам, запахло махоркой, слышались слова: «фитьфебиль», «чихаус», «каптинармус». За солдатом потихоньку вошла какая-то баба, спросила: «что, нашей курицы не видали?» и села. За ней другая, тоже насчет курицы, третья – пошел говор, дружба, словом, житье, которое Прохор Порфирыч не мог замуровать никакими положениями.

Он изредка высовывал сюда голову и грозно произносил: «Черти! аль вы очумели?» Солдат прятал пылавшую трубку в карман, бабы замолкали, но через несколько времени начиналась та же самая история. Порфирыч поэтому держался преимущественно в своей половине.

Прохор Порфирыч выбрал себе на житье другую половину избы, отделенную от кухни сенями с земляным полом.

Маленькая комнатка его хоть и смотрела окнами в забор, но зато не предвещала того близкого разрушения, которым ежеминутно грозило жилище маменьки: стены были довольно крепки и прямы, окна не так гнили и не так ввалились внутрь комнаты; тут же была особая печка с лежанкой. Некрасивый вид комнаты, при деятельном старании Порфирыча, принял некоторое благообразие. Перед окнами стоял станок, на котором Порфирыч обыкновенно высверливал дуло револьвера и зарядные отверстия в барабане; на этом же станке оттачивались как эти две штуки, так и все принадлежности замка, собачки, шомпола и другие части, которые доставляются кузнецом в самом аляповатом виде, едва-едва напоминающем настоящую форму оружия. Необходимые для этого инструменты были воткнуты за кожаный ремешок, прикрепленный к стене несколькими гвоздями. Над ними, у самого потолка, на больших гвоздях болтались вырезанные из листового железа фасоны разных частей оружия; по ним можно было проследить все «последние» растеряевские новости в мастерстве Прохора Порфирыча. Без пособия каких бы то ни было руководств, без самонаименьших признаков какого-нибудь печатного лоскута по этому предмету, Прохор Порфирыч всегда умел «поддеть» самую последнюю новинку. Проезжий офицер из Петербурга, помещик, облетевший весь мир и возвращающийся в отечество с двумя-тремя десятками заграничных вещиц, никогда почти не ускользали от зоркого глаза Прохора Порфирыча. Где-нибудь в гостини-

це Порфирыч убедительно просил такого проезжего дать вещицу «на фасон»; тут же, повертывая эту вещицу перед глазами, смекал, в чем дело; в крайних случаях прикидывал вещицу на бумагу и обводил наскоро карандашом, а до остального додумывался дома. Таким образом, в глуши, где-то в Растеряевой улице, Порфирыч знал, что на белом свете есть Адаме и Кольт, есть слово «система», которое он, впрочем, переводил в свою веру, отчего оно преображалось в «исцелению». Мало того, пистолеты, выходявшие из рук Порфирыча, носили изящно вытравленное клеймо: «Patent», смысл какого клейма оставался непроницаемою тайною как для Порфирыча, так и для травщика; но оба они знали, что когда работа украшена этим словом, то дают дороже.

Все остальное в комнате, не относившееся до мастерства, относилось исключительно до личных потребностей Прохора Порфирыча. Деревянная скрипучая кровать с грубым ковром, когда-то принадлежавшая растеряевскому барину, кожаная подушка того же барина, манишка на стене, сундук с тощими пожитками и, наконец, на лежанке, издали казавшейся грудю кирпичей, кусок тарелки с ваксой, сапожная щетка с оторванной верхней крышкой и оплывший сальный огарок в низеньком жестяном подсвечнике. Все эти признаки убожества в глазах Прохора Порфирыча принимали совершенно другое значение, потому что говорили о собственном его хозяйстве.

Сени также не пропали даром: в них было «положено»

спать подмастерью, которого Порфирыч скоро «припас» для себя. Подмастерье этот был не из т-ских; он был тамбовец и на счастье Порфирыча обладал таким множеством собственных бед, что вовсе не требовал за собою ни строгого присмотра, ни понуканья, ни ругательств. Он был почти вдвое старше Порфирыча, испытал наслаждение быть полным хозяином, имел благородную жену, которая и помutilа всю его жизнь, доведя наконец до того, что он, Кривоногов, бежал из родного города куда глаза глядят. В Т. проживал он без билета, что составляло его ежеминутную муку. Ко всем этим несчастьям присоединилось еще одно, едва ли не самое страшное, именно непомерная сердечная доброта, покорливость и ежеминутное сознание своей ничтожности. Такие беды сделали из него горчайшего пьяницу, но опасность попасть в пьяном виде в полицию, а потом в руки жены иногда могла удержать его в пределах одного шкалика в сутки. Прохор Порфирыч, имевший возможность по крайней мере раз тысячу убедиться в честности своего подмастерья, знавший полную его неспособность сделать какую-нибудь гнусность, все-таки, уходя из дому, заглядывал в кухню и говорил бабам:

– Присматривайте за этим молодцом-то!

Самою задушевною собеседницею подмастерья была Глафира; при ее помощи как-то таинственно являлась выпивка, соленый огурец, потом, благодаря им, тянулись долгие разговоры шепотом, ибо грозная тень Порфирыча невиди-

мо витала в мастерской. Подмастерье рассказывал про свое имущество, что «всего было», как он с полицеймейстером пил шампанское на балконе, как ходил за женой в маскарад, куда она укатила с офицерами. Потом еще более глубоким шепотом присовокуплял, как жена его была и ругала. При этом дело происходило так. «Харя!» – говорила ему жена, на что будто бы Кривоногов отвечал: «Покорнейше вас благодарю!» – «Рогожа!» – «Чувствительнейше вас благодарю!..» Разлетится, разлетится, по щеке – хлоп! «Сделайте вашу милость, еще...»

После разных мытарств, перенесенных им от супруги, последняя однажды пожелала с ним помириться... «Я, – говорит, – тебя, Федя, ни на кого не променяю...» – «О?» – «Провалиться! Потому, я тебя без памяти обожаю...»

– Обрадовался я, признаться, – рассказывал Кривоногов. – «Пройдись со мной под ручку...» Подхватил, пошли.

Шли-шли... «Зайдем сюда на минутку, вот в этот дом...» «Изволь», – говорю. Зашли. Завела она меня к какому-то военному, да и говорит: «Нельзя ли моему мужу лоб забрить?»

Я как услышал – прямо в окно, да бежать. Вот от этого-то и здесь очутился; не знаю, как отсюда-то бог вынесет...

Кривоногов вздыхал и принимался за работу.

Если иногда случалось, что подмастерье запивал и начинал поговаривать, что сам господин хозяин перед ним ничего не стоит, то хозяин, то есть Прохор Порфирыч, брал его

за шиворот, ташил в амбар и, толкнув туда, запирает дверь на замок. – И покорнейше вас благодарю! – говорил на это Кривоногов, очутившись где-нибудь в углу среди корыт и пустых мешков.

Обремененный разными невзгодами, подмастерье не переставая работал целые дни, и под защитою его двужильных трудов Прохор Порфирыч не спеша обделывал свои дела.

Главною задачею его в эту пору было оставлять в своем кармане по возможности самую большую часть той красненькой, которая получалась за проданный револьвер, то есть отделять из нее по возможности как можно меньше в пользу кузнецов и других лиц, которые участвуют своими трудами, и уплачивать им, если можно, натурою, в «надобное» время.

Сообразно с такими планами, Прохор Порфирыч особенно ценит только два дня в неделе: понедельник и субботу.

Понедельник был для него потому особенно дорог, почему для прочего рабочего люда он был невыносим. В понедельник Прохор Порфирыч делал дела свои потому, что вся «мастеровщина» города в этот день не имела сил ударить палец об палец, утверждая, что в этот день работают «лядкины детки», а все настоящие люди рыщут целый день, желая отдать душу дьяволу, только бы опохмелиться. И этот-то общий недуг доставляет в руку Порфирыча несколько таких недужных субъектов живьем. Но для этого им приходилось пройти еще многое множество рук, всегда достаточно цеп-

ких и много способствующих успеху Порфирыча. Дело совершалось примерно таким путем.

Приятный для Прохора Порфирыча субъект пробуждался в понедельник в какой-то совершенно неизвестной ему местности. Только самое тщательное напряжение разбитой «после вчерашнего» головы приводило его к заключению, что это или архиерейская дача, за пять верст от города, или Засека, за четырнадцать верст, или, наконец, родная улица и жена со слезами, упреками или поднятыми кулаками. Успокоившись насчет местности, бедная голова мастерового успевает тотчас же проклясть свое каторжное существование, дает самый решительный зарок не пить, подкрепляя это самую искреннюю и самую страшную клятву, и только выговаривает себе льготу на нынешний день, и то не пить, а опохмелиться. Такое богатство мыслей совершенно не соответствует внешнему виду мастерового: на нем нет ни шапки, ни чуйки, куда-то исчезли новенькие «коневые» сапоги, но почему-то уцелела одна только «жилетка». Мастеровой понимает это событие так: около него возились не воры-разбойники, а, быть может, первые друзья-приятели, которые, точно так же, как и он, проснулись с готовыми лопнуть головами и такие же полураздетые или раздетые совсем. Тот, кто оставил на мастеровом «жилетку», думал так: «Чай, и ему надо похмелиться-то чем-нибудь!»

И пошел искать в другое место.

Сожаления о коневых сапогах и чуйке, терзания больной

головы, проклятия мало-помалу исчезают в размышлениях над «жилеткой», и в особенности в сомнении относительно того, как на этот предмет посмотрит Данило Григорьич.

Полная, здоровая фигура Данилы Григорьича уже давным-давно красуется на высоком кабацком крыльце. Поправляя на животе поясок, исписанный словами какой-то молитвы, он солидно раскланивается с «стоящими» людьми или, понимая смысл понедельника, принимается набивать стойку целыми ворохами переменок. Под этим именем разумеется всякая ношебная рвань, совершенно не годная ни для какого употребления: старые халаты, сто лет тому назад пущенные семинаристами в заклад и прошедшие огонь и воду, лишившись в житейской битве полы, рукавов, целого квадрата в спине и проч. Вся эта рвань предназначается для несчастных птиц понедельника, которые то и дело залетают сюда, оставляя в заклад чуйки, жилетки и облачаясь в это уродское тряпье для того, чтобы хоть в чем-нибудь добратся домой.

Весело похаживает Данило Григорьич; по временам он запекает какую-нибудь духовную песнь: «Господи, помилуй...» или идет за перегородку, откуда скоро вместе с его смехом слышится захлебывающийся женский смех.

– Грех! – слышно за перегородкой.

– Эва!.. – басит Данило Григорьич.

На крыльце кто-то оступился от слишком быстрого вбега, и перед Данилою Григорьичем, солидно обдергивающим

подол ситцевой рубахи, вырастает полуобнаженная и словно на морозе трясущаяся фигура. Данило Григорьич спокойно помещается за стойкой.

– Сдел-л... милость! – хрипит фигура, подсовывая жилетку, и более ничего не в силах сказать. – Сдел-л... милость!

– Покажь-ко, за что миловать-то еще?

Начинается самая мучительная ревизия всех дыр жилета.

Данило Григорьич трет его мокрым пальцем, рассматривает на свет, словно фальшивую бумажку.

– Сдел-л... милость! Ах ты, боже мой! а? – царапая всклокоченную голову, хрипит фигура. – Данило Григорьич! Сдел-л милость... Ах т-ты, боже мой!

Мучитель швыряет жилет под стойку и говорит мастеровому, тыкая себя пальцем в грудь:

– Только един-ствен-но моя одна доброта!

– Отец!.. Да разве... Ах ты, боже мой!..

Данило Григорьич с сердцем откупоривает кривым шилом полштоф, с тем же ожесточением сует маленький стаканшко, склеенный и сургучом и замазкой, почему потерявший очень много в своем и без того незначительном объеме.

Ужас охватывает мастера.

– Данило Григорьич! Побойся бога!

– Я говорю, истинно только из одной жалости... Поверь ты мне... Я с тебя бог знает чего не возьму божитья... Для того, что видеть я не могу этого вашего мучения!

– Данило Григорьич! Отец! Да ты что же это мне?.. Опять,

стало быть, на неделю испорчен? Данило Григорьич!

Целовальник молча ставит полштоф на прежнее место.

– Данило Григорьич! – умоляя, хрипит мастеровой. – Ради самого господа бога... Данило Григорьич!

– Я теб-бе говорю, – хочешь, а не хочешь...

– Сто-сто-стой! Что ты? Сделай милость!.. Ах ты, господи...

– Для господа, я так полагаю, пьянствовать нигде не показано... Ну-кось, поправляйся махонькой.

Мастеровой долго смотрит на стаканишко с самым жестоким презрением, с горя плюет в сторону и наконец пьет...

Долго тянется молчание. Слышно хрустение соленого огурца.

– Нет, – говорит наконец мастеровой, немного опомнившись. – Я все гляжу, какова обчистка?..

– Спроворено по закону...

– А?.. Одну жилетку?.. Это как же будет?..

– Скажи еще за жилетку-то «слава богу»!

– И, ей-богу, скажешь!..

– Еще как скажешь-то...

– Ей-ей... Еще, слава богу, хоть жилетку оставили!.. Ах ты, боже мой!.. а?.. Обчи-и-стка-а... ай-ай-ай... а?.. Кан-нёвые сапоги одни, – душа вон, – пять целковых, одни!.. Да ведь какой конь-то!..

– Эти, что ль?

Целовальник вынес из-за перегородки два сапога...

– Он-ни! он-ни!.. – завопил мастеровой, простирая руки. – Ах, братец ты мой!.. Как есть они самые.

– Ну, теперь не воротишь!..

– Где воротить!.. не воротишь!

– Теперь нет!

– Теперь, избави бог, ни в жисть не вернуть... Они как есть!.. Обчистка!

Мастеровой развел руками.

– То-то и есть: говорил я тебе... ой, не больно конями-то своими вытанцовывай...

Идет долгое нравоучение.

– И опять же скажу, это на вас от господа бога попущение... Докуда вам мамоне угождать?.. – заключает целовальник.

Мастеровой вздыхает и скребет голову...

– Данило Григорьич! – умильно начинает он, голос его принимает какой-то сладкий оттенок. – Сделай милость!.. маленькую!

Данила Григорьича охватывает гнев. Не отвечая, он в одну секунду успеваеет нарядить посетителя в переменку и за плечи ведет к двери.

– Маленькую! отец!

– Ступ-пай! Ступай с богом!

– Полрюмочки!

– Ступай-ступай!

– Как же быть-то?

– Думай!

– Думать? Ведь и то, пожалуй, надо думать...

– Дело твое!

– Надо думать!.. Ничего не поделаешь!..

Черной тучей вваливается мастеровой в свою лачугу и, не взглянув на омертвевшую жену, нетвердыми ногами направляется к кровати, предварительно с размаху налетая на угол печки и далеко отбрасывая пьяным телом люльку с ребенком, висящую тут же на покровках, прицепленных к потолку. Не успела жена всплеснуть руками, не успела сдавленным от ужаса голосом прошептать: «разбойник!» – как супруг ее, с каким-то ворчаньем бросившись ничком на постель, уже заснул мертвым сном и храпел на всю лачугу. Испуганный этим храпом ребенок вздрагивал ногами и плакал. Оцепененье бедной бабы разрешается долгими слезами и причитаньями...

А муж все храпит... Наконец рыдающая жена решается на минуточку сходить к соседке. Наскоро рассказывает она приятельнице, в чем дело, занимает до вечера хлеба и тотчас же возвращается домой. Прямо под ноги ей бросаются из избы три собаки, с явными признаками молока на морде. Чую гибель молока, припасенного ребенку, она делает торопливый шаг через порог и наталкивается на пустой сундук с отломанной крышкой; в сундуке нет платья, на стене нет старой чуйки, на кровати нет мужа, а люлька с ребенком описывает по избе чудовищные круги, попадая то в печку,

то в стену. Окончательно убитая баба долго не может ничего сообразить и вдруг пускается вдогонку...

В это время муж ее с каким-то истинно артистическим азартом выделывает в дальнем конце улицы удивительные скачки: иногда он словно подплясывает, а вместе с ним пляшет и хвост женского платья, выбившегося из-под «переменки».

– Держи, держи!.. – голосит баба, путаясь в подоле отнявшимися и онемевшими ногами, – ах, ах, ах... Разбойник! Грабитель!

Какой-то лабазник стал ей поперек дороги, растопырив руки, словно останавливал вырвавшуюся лошадь. Прохожий солдат обнял на ходу и раза два повернулся с ней. Остановился и засмеялся чиновник с женой... А супруг в это время уже поравнялся с храминою Данилы Григорьича и с разлета всем телом распахнул обе половинки дверей.

Добралась наконец и баба. Мужа не было.

– Где муж? – едва переводя дух, закричала она. – Подавай! Слышишь? Сейчас ты мне его подавай, кровопийцу!..

– Я с твоим мужем не спал! – категорически ответил Данило Григорьич. – Ты его супруга, ты и должна его при себе сохранять!..

– Подавай, я тебе говорю!

Баба вся помертвела от негодования.

– С-с-сию минуту мне мужа маво!.. Знать я этого не хочу!..

Целовальник усмехнулся.

– Малаша! – произнес он, направляя слова за перегородку. – Вот баба мужа обронила... Сделайте милость, присоветуйте?

– Ххи-хи-и-их-хи-хи-хи! – раскатилось за перегородкой.

– Шкура! – заорала баба. – Мне на твои смехи наплевать!.. Твое дело распутничать, а я ребенку мать!

– Чтоб те разорвало!..

– Ах ты!..

– Что за Севастополь такой? – громче всех закричал целовальник. – Ишь, генерал Бебутов какой... мутить сюда пришла? Так я опять же тебе скажу – мужа твоего здесь не было!

– Не было-о?

– Нету! Проваливай с молитвой! К Фомину убежал!

– К Фомину-у?

– К нему. С бог-гом! В окно выскочил.

Баба замолчала, тихонько заплакала и медленно пошла к двери.

– Все ли взяла? Как бы чего не забыть?.. – подтрунивал целовальник.

– «А я вот он, а я во-о...» – вдруг запел кто-то...

Баба узнала голос мужа. Но где раздавалось это пение – на чердаке ли, под полом ли или на улице – решительно разобъяснить было нельзя. Тем не менее баба бросилась на хохотавшего целовальника.

– Подавай! Сейчас подавай! Я тебе голову разобью!

Хохотал целовальник, хохотала баба за перегородкой, и пение опять возобновилось.

– Разбойники! Дьволы! У меня корки нету... Под-дав-вай сейчас!..

– А я вот он, а я во, а я во, а я во, – хо-о-о!..

Смех, гам, слезы...

– Ну, с богом! – заговорил целовальник решительно и повел бабу на лестницу.

– Я на тебя, изверг ты этакой, – доносилось с улицы, – во сто раз наведу, ма-ашенник! Я тебя, живодера этакого, начальством заставлю...

– Ду-ура! Нету такого начальства, башка-а! Где же это ты такое начальство нашла, чтобы не пить? рожа-а! – резко и внушительно говорил целовальник, высовывая голову на улицу. – В начальстве ты на маковое зерно не смысли-ишь!.. Какого ты начальства будешь искать? Прочь отсюда, падаль!

Баба долго кричала на улице.

Целовальник, разгоряченный последним монологом, плотно захлопывал дверцы.

– Не торопись! – остановил его Прохор Порфирыч, отпихивая дверь, – совсем было прищемил!..

– А! Прохор Порфирыч! Доброго здоровья... Виноват, ба-тюшка! С эстими с бабами то есть, не приведи бог... Прошу покорно.

– Ай ушла? – шепотом проговорил мастеровой, приподымая головой крышку маленького погреба, устроенного под

полом за стойкой, у подножия Данилы Григорьича.

– Ушла!.. Ну, брат, у тебя ба-аба!

– О-о!.. У меня баба смерть!

Мастеровой выполз из погреба весь в паутине и стал до-
едать пеклеванку...

– Какую жуть нагнала-а? – спросил он, улыбаясь, у цело-
вальника.

Тот потрянул головой и обратился к гостю:

– Ну что же, Прохор Порфирыч, как бог милует?

– Вашими молитвами.

– Нашими? Дай господи! За тобой двадцать две...

– Ну что ж, – сказал мастеровой, – эка беда какая!

В это время из-за перегородки выползла дородная моло-
дая женщина, с большой грудью, колыхавшейся под белым
фартуком, с распотелым свежим лицом и синими глазами; на
голове у нее был платок, чуть связанный концами на груди.
По дородности, лени и множеству всего красного, навешан-
ного на ней, можно было заключить, что целовальник «дер-
жал при себе бабу» на всякий случай.

Прохор Порфирыч засвидетельствовал ей почтение.

– Что это, Данило Григорьич, – заговорила она, – вы этих
баб пущаете... Только одна срамота через это!

– Будьте покойны! – вмешался захмелевший мастеровой,
– она не посмеет этого. Главное дело, – обратился он
к Порфирычу шепотом, – я ей сказал: «Алена!.. Я этого не
могу, чтобы каждый год дитё!.. чтобы этого не было!.. Мне

такое дело нельзя!»

– Ну и что же? – спросил целовальник.

– Говорит: не буду! Потому я строго...

– Малань! – ухмыляясь, произнес целовальник. – Вот бы этак-то... а?..

– Вы всё с глупостями.

– Ххе-ххе-ххе!..

Мастеровой тоже засмеялся и прибавил:

– Нет, надо стараться!.. И так голова кругом ходит!

Целовальничья баба отвернулась. Прохор Порфирыч кашлянул и вступил с ней в разговор:

– Ну что же, Малань Иванна, по своем по Каширу тужите?

– Чего ж об нем... Только что сродственники...

– Да-с... родные?..

– Родные! Только что вот это. Конечно, жалко, ну все я такой каторги не вижу, когда братец Иван Филиппыч одним мастерством своим меня задушил... Они по кошачьей части... одно погляденье на этакую гадость... тьфу!

– А все деньги!..

– Ну-у уж... гадость какая!

– Данило Григорьич! – шептал мастеровой, колотя себя в грудь. – Перед истинным богом...

– Ты еще мне за стекло должен! Помнишь?.. – гудел Данило Григорьич.

– Данило Григорьич!..

– Ну, Малань Иванна! а в нашем городе что же вы? пужа-

етесь?

– Пужаюсь!

– Пужливы?..

– Страсть, как пужлива... Сейчас вся задрожу!..

– Да, д-да, да... Место новое...

– Да и признаться, все другое, все другое... За что ни возьмись... Опять народ горластый...

– П-па ка-акому же случаю я тебе дам? – восклицает в гнев Данило Григорьич.

– Данило Григорьич! Отец!

– Народ горластый, и опять же, чуть мало-мало, сейчас драка! Норовит, как бы кого...

– В ухо!.. Это верно! Потому вы нежные?.. – покашываясь на мастерового, ласково произносит Прохор Порфирыч.

– Нежная!..

– Умру! умру! – заорал мастеровой, упав на колени.

– А, чудак человек! Ну, из-за чего же я...

– Каплю, дьявол, каплю!

– Что? Что такое? – заговорил, нехотя повернув голову к спорящим, Прохор Порфирыч. – В чем расчет?

– Да, ей-богу, совсем малый взбесился... Просит колупнуть, но как же я ему могу дать?

– Любезный, заступись!.. Я ему, душегубу, за бесценок цвол (ствол ружейный). Цена ему два целковых... Прошу полштоф, а?

– Что же ты, Данило Григорьич! – произнес Порфирыч.

– Ей-ей, не могу. Мы тоже с этого живем...

– Покажь! – сказал Порфирыч, – что за цвол?..

У мастерового отлегло от сердца.

– Друг! – заговорил он, осторожно касаясь груди Порфирыча, – тебе перед истинным богом поручусь, полпуда поро-ху сыпь.

– Посмотрим, попытаем.

Целовальник вынес кованый пистолетный ствол, на кото-ром мелом были сделаны какие-то черты. Прохор Порфирыч принялся его пристально рассматривать.

– Сейчас околеть, – говорил мастеровой, – Дюженцеву де-лал!.. Еще к той субботе велел... Я было понадеялся, понес ему в субботу-ту, а его, угорелого, дома нету... Рыбу, вишь, пошел ловить... Ах, мол, думаю, чтоб тебе!.. Ну, оставить-то без него поопасался!..

– Да ко мне в сохранное место и принес! – добавил цело-вальник, – чтобы лучше он проспиртовался... чтобы крепче!

Мастеровой засмеялся...

– Оно одно на одно и вышло, – проговорил он, – Дюжен-цев этот и с рыбою-то совсем пьяный утоп...

– Вот так-то!

– Ах, и цвол же! ежели бы на охотника...

– Это что же такое?.. – произнес Порфирыч, отыскав ка-кой-то изъян.

– Это-то? Да, друг ты мой!

– Я говорю, это что? Это работа?

– Ну, ей-богу, это самое пустое: чуть-чуть молоточком прищемлено...

– Я говорю, это работа?

– Да ты сейчас ее подпилком! Она ничуть, ничево!

– Все я же? Я плати, я и подпилком? Получи, брат.

Прохор Порфирыч кладет ствол на стойку, садится на прежнее место и, делая папиросу, говорит бабе:

– Так пужаетесь?

– Пужаюсь! Я все пуж-жаюсь...

– Ангел! – перебивает мастеровой. – Какая твоя цена?

Я на все, только хоть чуточку мне помощи-защиты, потому мне смерть.

– Да какая моя цена? – солидно и неторопливо говорит Порфирыч. – Данилу Григорьичу, чать, рубль ассигнациями за него надо?..

– Это надо!.. Это беспрременно!..

– Вот то-то! Это раз. Все я же плати... А второе дело, это колдобина, на цволу-то, это тоже мне не статья...

– Да я тебе, сейчас умереть...

– погоди! Ну, пушай я сам как-никак ее сровняю, все же набавки я большой не в силах дать...

– Ну, примерно? на глазомер?

– Да примерно, что же?.. Два больших полыхнешь за мое здоровье; больше я не осилю...

– Куда ж это ты бога-то девал?

– Ну, уж это дело наше.

– Ты про бога своими пьяными устами не очень! – прибавляет целовальник.

Настает молчание.

– Так вы, Малань Иванна, пужаетесь все?

– Все пужаюсь. Место новое!

– Это так. Опасно!

– Три! – отчаянно вскрикивает мастеровой. – Чтоб вам всем подавиться...

– Давиться нам нечего, – спокойно произносят целовальник и Порфирыч.

– А что «три», – прибавляет последний, – это я еще подумаю.

– Тьфу! Чтоб вам!

– Дай-кось цвол-то!

– Ты меня втрое пуще моей муки измучил!

Порфирыч снова рассматривает ствол и наконец нехотя произносит:

– Дай ему, Данило Григорьич!

– Три?

– Да уж давай три... Что с ним будешь делать... Малый-то дюже тово... захворал «чихоткой»!

Мастеровой почти залпом пьет три больших стакана по пятаку, обдает всю компанию целым проливнем нецеремонной брани и, снова пьяный, снова разбитый, при помощи услужливого толчка, пущенного услужливым целовальником, скатывается с лестницы, считая ступени своим обес-

силевшим телом. Прохор Порфирыч спокойно прячет в карман доставшийся ему за бесценок ствол и снова обращается к целовальничьей бабе, предварительно вскинув ногу на ногу:

– Так вы, Малань Иванна, утверждаете, что главное по кошачьей части, то есть на родине?..

– По кошачьей! Такие неприятности!

– Конечно! Какое же удовольствие?

Такой образ действия Прохор Порфирыч называет умением потрафлять в «надобную минуту» и в понедельник мог им пользоваться в полное удовольствие, употребляя при этом почти одни и те же фразы, ибо общий недуг понедельника слагал сцены с совершенно одинаковым содержанием.

Побеседовав с целовальничихой, Прохор Порфирыч отправлялся или домой, унося с собой груду шутя приобретенных вещей, или же шел куда-нибудь в другое небезвыгодное место.

Между его знакомыми жил на той стороне мещанин Лубков, который был для Порфирыча выгоден одинаково во все дни недели.

Мещанин Лубков жил в большом ветхом доме с огромной гнилой крышей. Самая фигура дома давала некоторое понятие о характере хозяина. Гнилые рамы в окнах, прилипнувшие к ним тонкие кисейные занавески мутно-синего цвета, оторванные и болтавшиеся на одной петле ставни, аляповатые подпорки к дому, упиравшиеся одним концом чуть не

в середину улицы, а другим в выпятившуюся гнилую стену, все это весьма обстоятельно дополняло беспечную фигуру хозяина.

В летнее время он по целым дням сидел на ступеньках своей лавчонки. Вследствие жары и тучности ноги были босиком, на плечах неизменно присутствовал довольно ветхий халат, значительно пожелтый от поту и с особенным старанием облипавший выпуклости на тучном хозяйском теле. Такой легкий летний костюм завершался картузом, истрепанным и засаленным с затылка до последней степени. Беспорядок, отпечатывавшийся на доме и на хозяине, отмечал едва ли не в большей степени и все действия его. Сначала он занимался разведением фруктовых деревьев; дело тянулось до смерти жены, после чего Лубков вдруг начал для разнообразия торговать говядиной, но, не умея «расчесть», стал давать в долг и проторговался. Кризисы такие Лубков переносил необыкновенно спокойно, и в тот момент, когда, например, торговля говядиной была решительно невозможна, он вел за рога корову на торг, продавал ее, на вырученные деньги покупал водовозку и принимался, не спеша, за водовозничество. Точно с таким же нерасчетом завел он кабак, который сам же и посещал чаще всех, хлебную пекарню и проч. и на всем спокойно прогорел.

К довершению своей добродушно-бестолковой жизни он опять женился на молоденькой девушке, имея на плечах пятьдесят лет, и благодаря этому пассажи имел возможность

хоть раз в жизни чему-нибудь удивиться и вытаращить глаза. У него родился сын. Событие было до того неожиданно, что Лубков решил оставить на некоторое время свое любимое местопребывание, крыльцо, и направился к жене.

– Наталья Тимофеевна, – сказал он ей, почесывая голову, – это... что же такое будет?

– Убирайся ты отсюда... знаешь куда? много ты тут понимаешь!

– Да и то ничего не разберу...

– Пшол!..

Через минуту Лубков по-прежнему сидел на крыльце. Спокойствие снова осенило его. Раздумывая над случившимся, он улыбался и бормотал:

– К-комиссия...

Шли годы, и нередко ребята, то есть мастеровой народ, имея случай посмеяться над Лубковым, извещали его о близкой прибыли в то время, когда он, казалось, и не подозревал этого.

Несколько лет таких неожиданностей и насмешек снова нарушили покой Лубкова. Он вторично покинул свое седалище с целью поговорить с женой.

– Наталья Тимофеевна! – сказал он ей, – вы, сделайте милость, осторожнее...

– Нет, ты сперва двадцать раз подавись, да тогда и приходи с разговорами!

– Хоть по крайности сказывайтесь мне... в случае чего...

– Пошел!..

Постигнув наконец, что ему безвинно суждено быть отцом многочисленного семейства, Лубков на шутки ребят отвечал:

– А ты бы, умный человек, помалчивал бы, ей-богу! Во сто бы тысяч раз было превосходнее, ежели бы ты молчком норовил... так-то!

В настоящее время у него по-прежнему существовала лавка, но род промышленности был совершенно непостижим, потому что лавка была почти пуста. В углах висели большие гирлянды паутины, с потолка свешивалась какая-то веревка, которую Лубков собирался снять в течение десяти лет, а на полках помещались следующие предметы: ящики с ржавыми гвоздями, куски железа, шкворень, всякий железный лом и полштоф с водкой. Более ничего в лавке и не было, кроме дивана, покрытого рогожей. На этом диване любила сидеть жена Лубкова и обыкновенно во время этого сиденья занималась руганьем мужа на все лады. Неподвижная спина Лубкова, подставленная под ругательские речи жены, ленивое почесыванье за ухом или в голове, среди самых патетических мест ее, смертельно раздражали разгневанную супругу.

– Демон! – вскрикивала она в ужасе.

Муж встряхивал головой, и сдвинутый на сторону картуз снова сидел на прежнем месте.

Другого ответа не было.

В понедельник в лавке Лубкова было довольно много по-

сетителей и происходило что-то вроде торговли. Дело в том, что потребность опохмелиться загоняла даже к Лубкову целые толпы беднейших подмастерьев, которые, за неимением своего, тащили добро хозяйское: в сапогах или потаенных карманах, приделанных внутри чуйки, тащили они к Лубкову медную «обтирню» или дрязгу, целые вороха всякого сборного железа по копейке или по две за фунт. Все это у него тотчас же покупали люди понимающие. Иногда и сам Лубков принимался как будто делать дело: он выбирал из сборного железа годные в дело петли, крючки, ключи, откладывал их в особое место и при случае продавал не без выгоды. Иногда в общей массе железного лома попадались какие-нибудь редкостные вещицы, например замок с фокусом и таинственным механизмом. Ради этих диковинок заходил сюда и Прохор Порфирыч, имея в виду «охотников», которым он сбывал любопытные вещи за хорошую цену, платя Лубкову копейками, на что, впрочем, тот не претендовал.

Лубков, по обыкновению, молча сидел на ступеньках крыльца, когда с ним поравнялся Порфирыч.

– А-а! Батюшка, Прохор Порфирыч! В кои-то веки!..

– Что же это ты в магазине-то своем не сидишь?..

– Да так надо сказать, что приказчики у меня там оруду-ют...

– Торговля?

– Хе-х-хе-хе.

Порфирыч вошел в лавку и, поместившись на диване,

принялся делать папироску.

– Подтить маленичка хлебушка искупить, – произнес хозяин, кряхтя поднимаясь с сиденья, и пошел в лавчонку напротив; под парусинным пологом торговал хлебник, на прилавке были навалены булки, калачи, огурцы и стояла толпа бутылок с квасом, шипевшим от жары. Подойдя к лавчонке, Лубков долго чесал спину, глубоко, по-видимому, вдумываясь и в квасные бутылки, и в огурцы, и в ковриги хлеба. Наконец он коснулся пальцем о белый весовой хлеб и сказал:

– Ну-кося! замахнись на три фунтика!

В то же время в самом «магазине» происходила следующая сцена. Рядом с Прохором Порфирычем на диване помещилась молодая черномазенькая смазливая жена Лубкова, в маленькой шерстяной косынке на плечах, изображавшей красных и черных змей или, пожалуй, пиявок.

– Ты что же, домовой, – говорила она Порфирычу, – когда же ты мне платок-то принесешь?..

– Да ты и без платка выйдешь!

– Ну, это ты вот, на-кося!

– Ей-богу, выйдешь! Потому я на тебя твоему главному донесу!

– Мужу-то? Лешему-то?

– Н-нет, Евстигнею...

– Прощка! – ошарашив по плечу еще глупее улыбавшегося Порфирыча, воскликнула собеседница, – я тебе тогда, издохнуть! башку прошибу...

– Хе-х-хе-хе!

Молчание...

– Прохор! – заговорила опять жена Лубкова. – Если это твой поступок, то я с тобой, со свиньей... Тьфу! Приходи вечером... Черт с тобой!..

– Без платка?

– Возьмешь с тебя, с выжиги...

И она еще раз огрела его по плечу.

Порфирыч улыбался во все лицо.

В это время на пороге показался Лубков; он нес под мышкой большой кусок весового хлеба, придерживая другой рукой конец полы своего халата, которая была наполнена огурцами.

Свалив все это на стойку, он взял один огурец и, шмыгая им по боку, говорил Порфирычу:

– Какая, братец ты мой, комедия случилась... Алещку Зуева, чать, знаешь?

– Ну?

– Ну. То есть истинно со смеху уморил!.. Малый-то замotalся, опохмелиться нечем. Что будешь делать!.. Сижу я, никак вчерась, вот так-то на крылечке, гляжу, что такое: тащит человек на себе ровно бы ворота какие. Посмотрю, посмотрю – ко мне!.. «Алеха!» – «Я». – «Что ты, дурак?» – «Да вот, говорит, сделай милость, нет ли на полштоф, я тебе приволок махину в сто серебром...» – «Что такое?» – «Надгробие», говорит. Так я и покатился! Это он с кладбища сволок. «По-

читай-кось, говорит, что тут написано?..» Начал я разбирать: «Пом-мя-ни». – «Ну, вот я и помяну», говорит... Хе-хе-хе!

Смех...

Лубков откусывает пол-огурца.

– Кам-медия! – говорит он, усаживаясь снова на крылечке.

Настает общее молчание. Жена Лубкова грозит кулаком около самого носа Порфирыча. Тот сладко улыбается, полузакрыв глаза...

В обителище Лубкова он делал дела пополам с шуткой; но я не стану изображать, каким образом тут в руки Порфирыча попадала та или другая нужная ему вещица, отрытая в ящике с сборным железом. Все это делается «спрохвала», тянется от нечего делать долго, но вместе с тем, благодаря талантам Порфирыча, не носит на себе ничего отталкивающего. Самый процесс обирания Лубкова весьма мил. Жадности или алчности не было вообще заметно в действиях Прохора Порфирыча: на его долю приходилось слишком много такого, что можно было брать наверняка, без подвохов и подходов; да кроме того, даже при таком тихом образе действий, Порфирыч мог еще подготавливать себе надобную минуту. Уходя от нужного человека домой, он находил полную возможность сказать ему: «Так смотри же, за тобой осталось... Помни!» Вообще особенность Прохора Порфирыча состояла в уменье смотреть на бедствующего ближнего одновременно и с презрительным сожалением, и с холодным

равнодушием, и расчетом, да еще в том, что такой взгляд осуществлен им на деле прежде множества других растеряевцев, тоже понимавших дело, но не знавших еще, как сладить с собственным сердцем.

Взяв от понедельника все, что можно взять наверняка, Прохор Порфирыч, спокойный и довольный, возвращался домой. Поджидая у перевоза лодку, он присел на лавочке, закурил папироску и разговорился с своим соседом. Это был старик лет шестидесяти, с зеленоватой бородой, по всем приметам заводский мастер. На коленях он держал большой мешок с углем.

– Что же, ты бы работы поискал, – говорил внушительно Прохор Порфирыч.

– Друг! работы? По моим летам теперича надо бы по-настоящему спокой, а я вон...

Старик как-то пихнул мешок с углем.

– Стало быть, нету, – прибавил он. – Что я знаю? Всю жизнь колесо вертел, это разве куда годится?

– Плохо! Ну, и... того, потаскиваешь уголек-то?

– И – да! братец мой... Я в эфтом не запираюсь: которые господа у меня берут, те это знают: «Что, старичок, подтибрил?» – «Так точно, говорю, васскородие!..» Так-то! Ничего не поделаешь!

Старик замолчал и потом что-то начал шептать Порфирычу на ухо, но тот его тотчас же остановил.

– Ты, старина, таких слов остерегайся!

Старик вздохнул. Лодка причалила к берегу, и в нее вошла толпа пассажиров: «казючка» (женщина зареченской стороны), больничный солдат с книгой, два мещанина, старик и Прохор Порфирыч. Лодка тихо отплыла от берега.

– Вытащили его? – спрашивал один мещанин другого.

– Вытащили... Главная причина, пять дён сыскать не могли: шарили, шарили... Раз двадцать невода закидывали, нет да на поди... А он, что же? какую он штуку удрал!..

– Н-ну?

– Знаешь ключи-то у берега? Он туда и сковырнись, засел в дыру-то, нет – да и полно!

– Вот тоже наше дело, – заговорил солдат с книгой. – Я говорю: васскородие, нешто голыми людей хоронить показано где? А он мне...

– Это к чему же речь ваша клонит? – иронически перебил Порфирыч.

– Чево это?

– В как-ком, говорю, смысле?

Старик прищурился и, видимо, не расслышал иронических слов соседа.

– Он-то, что ль? – заговорил старик. – О-о-о! Он смыслит!

Еще как концы-то прячет! Ты, говорит, богом тоже в нагоде рожден. Бона ка-ак!..

Порфирыч, откинувшись к краю лодки, с презрительной улыбкой глядел на полуглухого старика, который начал медленно набивать табаком свой золотушный нос.

– Он, брат, пон-нимает!..

Выйдя на берег, Порфирыч повернул налево, мимо каменной стены архиерейского двора. У задних ворот, выходящих на реку, стояло несколько консисторских чиновников в вицмундирах; одни торопливо докуривали папиросы, другие упражнялись в пускании по воде камешков рикошетом и делали при этом самые атлетические позы. У берега бабы и солдаты стирали белье, шлепая вальками. Порфирыч пошел городским садом. На лавке, среди всеобщей пустынности, сидел какой-то отставной чиновник в одном люстриновом пальто и в картузе с красным околышем. Это современный капитан Копейкин.

Принеся на алтарь отечества все во время севастопольской кампании, то есть съев сотни патриотических обедов, устраивавшихся для ополченцев, он и теперь как будто ожидает возвращения такого же счастливого времени. Рядом с ним была женщина подозрительного свойства; она как-то особенно пристально всматривалась в лицо проходившего Порфирыча и делала томные глаза.

– Костенька! – сказала она, – мне скучно!

– А мне черт с тобой! – злобно прорычал собеседник.

– Как вы вспыльчивы!

Скука, жара...

В середине сада, в кругу, обставленном разросшимися акациями, сидит несколько темных личностей, что-то оборванное, разбитое; одни дремлют, прислонившись спиной к

дереву, другие лежат на лавке, подставив спину солнцу.

– Посмотрите-ка, голубчики, что он со мной сделал, – говорит какой-то мастеровой и отнимает от локтя огромный газетный лист. Локоть оказывается разбитым, льет кровь.

– Хло-обысну-л! – говорит кто-то.

– А? И за что же, голубчики вы мои, он меня этак-то изувечил, как вы полагаете, а? Пр-росто удивление! Вхожу я к нему и только два словечка всего и сказал-то: одолжи, говорю, мне, Тимофеюшко, на копеечку хренку! Только всего и сказал-то, а? и заместо того, что же?

Все удивились. Прохор Порфирыч понял, что у Тимофеюшки, наверное, теперь расшиблены оба локтя. Он закурил папироску и вышел из сада.

Пошли длинные безмолвные улицы, длинные заборы, взрытые тротуары.

Тишина. Скука. Жара.

– Держи! держи! – раздавалось вдруг, и на перекрестке мелькала фигура улепетывавшего от жены мастерового.

«Понедельничают еще!...» – думал Прохор Порфирыч.

Наставал отдых. Под защитою «двужильных» трудов Кривоногова Прохор Порфирыч имел возможность иногда ничего не делать целую неделю, вплоть до субботы. Время отдыха, проводимое другими мастеровыми обыкновенно в кабаке, непьющему мастеровому решительно некуда деть. (Так было двадцать лет назад.) Предоставленный самому себе, он чувствует себя очень неловко: что-то, глубоко задавленное

трудом, в эту пору как будто начинает оживать, чего-то хочется, какие-то странные мысли залетают в голову и, застывая в форме неразрешенного вопроса, еще более тяготят малого: дело оканчивается или сном, или кабаками.

Проخور Порфирыч в свободное время принимался посещать знакомых и таким образом избегал обоих несчастий. Зеленый, довольно объемистый сундук его мог указать еще другую пользу знакомств: наполнявшие его разного рода, длины и вида брюки и сюртуки были подарки за ту или другую услугу от разных знакомых. Правда, все эти подарки были довольно дряхлы и засалены, но Проخور Порфирыч умел скрыть эти недостатки не только от глаз посторонних, но, можно сказать наверное, и от самого себя; он был уверен и мог уверить кого угодно из растеряевцев, что это вот, например, сукно аглицкое, этот жилет французского покроя, а такого сукна с искрой, которым покрыто пальто, теперь нигде отыскать невозможно.

Знакомился Проخور Порфирыч только с благородными, потому что сам он тоже благородный и еще потому, что благородный человек не скажет: «угости», а, напротив, угостит сам.

Иногда он был до того глупо доволен своими «благородными» знакомствами, что, казалось, даже терял некоторую долю расчетливости, чего, в сущности, никак бы не могло быть.

После обеда, когда Кривоногов лег в сенях отдохнуть,

Прохор Порфирыч тщательно украсил себя чем мог, запасся коротенькою сломанною тросточкою, подарок растеряевского живописца, и не спеша отправился попить чайку и посидеть к чиновнику Богоборцеву.

Знакомство с этим чиновником завязалось благодаря кахетинской курице, забежавшей к Порфирычу и доставленной им в целости хозяину, то есть Богоборцеву. Кроме непреодолимой страсти к курам, Богоборцев имел множество особенностей, совершенно выделявших его из класса «чиновников».

Его не интересовали канцелярские тайны и чиновнические разговоры столько, сколько конная, оранье прасолов и цыган; любимым зрелищем его была драка, которую он всемерно старался «подгвазживать», то есть раззадоривать. Любил слушать двухорные концерты и с глубоким вниманием смотрел, как гоняют «сквозь строй», и проч. Книг он не читал ни одной, хотя был уверен, что духовные книги неизмеримо выше светских, но все-таки не читал и духовных. Относительно политики полагал, что «все наши». В двенадцатом году мы всех взяли. На поляков сердился и советовал их уничтожить. Насчет внутреннего устройства собственной персоны он не имел никакого понятия; знал, что в человеке есть сердце, «душа», живот, но в каком порядке размещены эти предметы: душа, живот и сердце, – объяснить не мог. Среди сменяющихся поколений, или так называемой «реки времен», господин Богоборцев представлял собою скалу,

о которую разбиваются всякие «направления», «плоды реформ», «отрадные явления» и явления, над которыми «можно призадуматься». Все это, бушующее около него даже в провинции, не имело сил хоть на волосок оттянуть его от любимого окошка, где по вечерам Богоборцев неизменно присутствовал и при этом обыкновенно пел весьма нежным голосом:

– «В-во-об-облаце ле-эхце-э...»

От жары в квартире Богоборцева были заперты ставни.

Раскаленный, отвратительный воздух наполнял сени. Прохор Порфирыч вошел в горницу. Хозяин сидел в полуосвещенной комнате около стола и доедал обед.

– А! Приятель! – радостно сказал он.

– Здравствуйе, Егор Матвеич! Кушайте!

Хозяин отодвинул блюдо и почувствовал, что сыт по горло.

– Ф-фу, батюшки...

– Жарко-с! – говорил Порфирыч, отирая лицо платком.

– Беда! – сказал хозяин.

Начался вялый разговор, поминутно прекращавшийся за отсутствием всяких новостей. Обоюдные усилия хозяина и гостя завязать разговор были напрасны. Наконец ударили к вечерне.

– Э-э-э! – радостно произнес хозяин. – Самоварчик пора. Авдоть! Авдотья-а!..

Ответа не было.

– Что она, никак, оглохла?

Хозяин вышел в другую комнату, потом в сени. Порфирыч сел посвободнее, оглянул комнату – на стенах висели рамки с разными редкостями: птица, сделанная из настоящих перьев, наклеенных на бумагу; «отче наш», написанный в виде креста, с копьями по бокам; «верую» в виде пылающего сердца. Только такого рода редкостные вещи интересовали Богоборцева в области искусств. Во всей комнате была одна картина, изображавшая людей, но и та попала сюда совершенно случайно.

Не понимая ее содержания, Богоборцев был глубоко уверен, что теперь таких картин уже нет нигде. Как любителю редкостей, Прохор Порфирыч часто «всучивал» Богоборцеву разные таинственные замки и прочие вещи, добытые у Лубкова.

Хозяин возвратился с прежним упорным желанием завязать разговор. Прохор Порфирыч, ужаснувшись предстоявшей каторге, прямо ударил в любимую тему хозяина.

– Как куры, Егор Матвеич? – спросил он.

– Что, брат! Горе мое с этими курами! Главное дело, негде держать!

– Это неловко-с!

Хозяин вынимал из шкафа чайную посуду.

– Курице надобен простор, – говорил он, – а я ее в бане морю... Коли хочешь, пройдемся?

Гость и хозяин пошли. Егор Матвеич прошел двор, на-

гнувшись под веревкой, протянутой для белья, вошел в сад и направился к бане.

– Негде им разойтись-то! – оборачиваясь, говорил он, – вот! Выпусти – украдут!

В темной бане бродило по полу с писком и криком несколько породистых кур и множество цыплят; все это население загомосилось при виде хозяина. Цыплята начали пищать почти не переставая. Один цыпленок забрался на бочку со щелоком и поминутно взмахивал крыльями, опасаясь опрокинуться в пропасть.

– Эко у вас, Егор Матвеич, кочет-то богатый!

– Горлопан-то? о-о-о! он у меня беда. Ка-агда глаза-то продерет, почнет голосить, смерть!.. Кочет бедовый!.. Вот кахетинки меня сконфузили... Цыпляки как есть все зачичкались.

Хозяин подхватил одного цыпленка с полу и вынес к свету.

– Вот. Погляди-кось!

Цыпленок еле раскрывал глаза и чуть-чуть издавал плаксивые звуки.

– С чего же это они?

– Скука! со скуки... тоска!.. взаперти, выпустить боюсь, народ, сам знаешь, какой?

– Это что!..

– Вот то-то! Ну, и грустит!..

Хозяин пустил цыпленка, отворил предбанник и показал

породистую индюшку.

– Вот тоже охота у Филипп Львовича! – проговорил Порфирыч, но вдруг был поражен неожиданной переменою, происшедшей в хозяине.

На лице его выразилось презрение. Филипп Львович был тоже охотник и, стало быть, соперник.

– Много вы с твоим Филипп Львовичем в охоте смыслите?.. О-о-хота! Много вы постигаете в охоте-то!.. – покраснев, в гневе произнес хозяин.

– Егор Матвеич! – испуганно проговорил совершенно струсивший Порфирыч. – Я это истинно, перед богом, упомянул, то есть так...

– Вам еще до настоящей охоты-то сто лет расти осталось!

У Филипп Львовича охота!..

– Егор Матвеич! Богом вам божусь, я даже сам обезживотел со смеху, когда этот Филипп Львович сказал: «У меня, говорит, охота»... Ей-ей... Так и покатился! Собственно, только для этого и упомянул!

– У него охота!

– Ей-богу... Просто обезживотел! «У меня, говорит, охота...» Так я и покатился!.. Ей-ей!

Прохор Порфирыч оробел.

– Знает ли он, – продолжал хозяин, – что такое охота? Настоящая охота, гляди сюда...

Хозяин для примера взял в руки цыпленка и заговорил с расстановкой, отделяя каждое слово:

– Первое дело порода: это ведь он ни шиша не постигает. Потому, есть курица голландская и есть курица шампанская...

– Это верно!

– погоди! Это р-раз! Ежели, храни бог греха, повалят убудки, это для охотника что?

Порфирыч молча и испуганно смотрел на хозяина.

– Видишь, вон щепка валяется? Вот что это для охотника!

– Трудно! – сказал Порфирыч, не найдя другого слова.

– Второе дело! – продолжал хозяин, – шампанская курица бурдастая, из сибиряк король... бурда – во! Понял?

Порфирыч кашлянул и переступил с ноги на ногу...

– Филипп Львович! Чижа паленого смыслит он! Опять, индюшка: ежели в случае ее по башке: тюк! она летит торчмя головой! Но аглицкий петух имеет свой расчет: он сперва клюет землю...

– Егор Матвейч! – вопиял Прохор Порфирыч, чувствуя только, что он виноват, – перед богом, я это упомянул только ради смеху, сейчас умереть! какая же может быть у него охота?

– Болван он! Вот ему цена!

Хозяин бросил цыпленка и вышел.

– Я так и покатился! – говорил Порфирыч, следуя за ним.

Богоборцев не отвечал, хотя и успокоился.

В комнате на столе уже кипел самовар.

Началось долгое и дружное чаепитие.

Через несколько времени Порфирыч остановился у ворот дома, принадлежавшего отставному «статскому генералу» Калачову. Прежде нежели войти во двор, он тщательно осмотрел свой костюм, спрятал под жилет концы галстука, растопыренного в разные стороны «для красоты», и несколько раз откашлянулся. Все это делалось на том основании, что генерал Калачов считался извергом и зверем во всей Растеряевой улице; чиновники пробирались мимо его окон с какою-то поспешностью, ибо им казалось, что генерал «уже вылупил глазищи» и хочет изругать не на живот, а на смерть. Словом, все, от чиновника и семинариста до мастерового, или боялись, или презирали его, но ругали положительно все. Растеряевой улице было известно, что он скоро в гроб вгонит жену, измучил детей и проч. Порфирыч, спасенный генералом от рекрутства, считал обязанностью задаром чинить ему садовые ножницы, разные столярные инструменты и был тоже убежден в его зверстве.

Приведя в порядок свой костюм, он осторожно входил в калитку; представление о генерале разных ужасов почему-то подкреплялось этой необыкновенной чистотой двора, всегда выметенного, этими надписями, начертанными мелом на сырых углах и гласившими: «не сметь» и проч.

Порфирыч встретил генерала на дворе: он торопливо шел из сада с большими ножницами.

– А! – сказал генерал. – Милости просим! – и скрылся в дом.

Порфирыч зашел зачем-то в кухню и потом робко пробрался в комнату.

В маленькой комнатке, с старинною, но чистою и блестящею мебелью, сидело семейство генерала: около яркого кипевшего самовара сидела дочь с бледным болезненным лицом и равнодушным взглядом; рядом с ней брат, молодой человек с изморенным лицом, боязливым взглядом и сгорбленной спиной; он как будто прятался за самовар и нагибал голову к самой чашке. У окна, завернувшись в заячью шубку, грелась на солнце жена генерала, протянув ноги на стул. Лицо ее действительно было полно грусти, болезни и скорби.

Она постоянно вздыхала и говорила: «О-ох, господи батюшка!»

При появлении Порфирыча все сказали ему «здравствуй».

– Садись, Проша! – сказал генерал, помещавшийся по другую сторону самовара.

Порфирыч кашлянул и сел. Настала мертвая тишина.

Стучали часы, бойко кипел самовар. От самовара и от солнца, ударявшего прямо в окна, в комнате делалось душно. Генерал большой костлявой рукой вытирал огромный запотевший лоб с торчавшими по бокам седыми косицами.

Гробовое молчание. Сын все больше и больше прячется за самовар. Ему понадобилась ложка.

– Ма... Маш... – шепчет он чуть слышно.

– М-м? – спрашивает девушка.

Следуют знаки руками.

– Ло... Лож...

– Что там? – громко спрашивает генерал.

Все замирает. Сын начинает опрометью хлебать чай.

– Нет, это Сеня... – тихо говорит дочь.

Сеня в ужасе вытаращивает на сестру глаза.

– Что ему? – допытывается генерал. – Что тебе?

– Нет-с... это...

– Ты что-то говорил?

– Нет... я...

– А?

– Ничего!..

Сеня высовывает сестре язык.

– Что ж ты там шепчешь?

– Скат-ти-на! – пригнувшись к самому столу, шепчет Сеня, посылая это приветствие сестре.

Снова мертвое молчание.

Порфирыч как-то и сам привык бояться этого громкого и твердого голоса генерала, если бы даже он говорил самые обыкновенные вещи. В мертвой тишине Порфирыч чувял ежеминутно бурю. Таковую же бурю чувяли все.

Генерал начал тереть лоб, словно собираясь что-то сказать, но нерешительность и тревога, вовсе не соответствовавшие его энергическому лицу, останавливали его.

– Пашенька! – наконец мягко произнес он.

Жена вздрогнула; дети тоже.

– Там в саду у нас... вербочка. Она так разрослась, и я думаю... что ее необходимо... срубить...

Жена отчаянно махнула рукой.

– Я знаю, ты ее любишь... но...

– Руби! – нервно и почти визгливо перервала жена.

– Ты, ради бога, не сердись понапрасну... Мне самому ее смертельно жаль... Но я хотел тебе сказать...

– Что мне говорить? – напрягая всю силу горла, заговорила взволнованная жена. – Зарубил одно, захотел!

– Ради бога! Не захотел! Пойми же ты хоть раз в жизни, что я ничего не хочу!.. Необходимо срубить... Она задушила у нас две вишни...

Грозное молчание. Жена вся дрожит от новой прихоти мужа, потому что вербочка – ее любимое деревцо.

Проخور Порфирыч подался к двери.

Через несколько времени генерал начал было опять:

– Итак, мой друг, я... принужден...

– Всех руби! – завизжала и закашлялась жена. – Всех режь!..

– Фу т-ты!

Блюдечко с горячим чаем полетело на стол; генерал быстро вышел, хлопнув дверью.

Порфирыч пятился. Жена генерала была близка к истерике, дети были парализованы зверством родителя и сидели с вытаращенными глазами. Тяжесть свинца висела надо всеми.

А «генерал» между тем заперся в своем мастерском кабинете и, утирая большим костлявым кулаком слезы, думал:

«Господи!.. за что же! за что же это?.. Отчего?» – спрашивал наконец он вслух... И все-таки он не знал этого «отчего». Надо всем домом, надо всей семьей генерала царило какое-то «недоразумение», вследствие которого всякое искреннее и, главное, действительно благое намерение его, будучи приведено в исполнение, приносило существеннейший вред. В те роковые минуты, когда он допытывался, отчего он безвинно стал врагом своей семьи, он припоминал множество подобных нынешней сцен и ужасался... Горе его в том, что, зная «свою правду», он не знал правды растеряевской... Когда он перед венцом говорил будущей жене: «ты должна быть откровенна и не утаивать от меня ничего, иначе я прогоню тебя или уйду сам», он не знал, что на такую, в устах жениха необычайную фразу последует следующий комментарий, переданный задушевной приятельнице: «признайся, говорит, зарычал на меня ровно зверь... прогоню, говорит...» Он не знал, что слова его, всегда требовавшие смысла от растеряевской бессмыслицы, еще более бессмыслили ее.

Страх, который почувствовала жена генерала перед громким голосом и густыми бровями мужа, она как-то бестолково передала детям. Если, например, случалось, сидела она с ребенком и вертела перед ним блюдечком, то при звуках мужниных шагов считала какою-то обязанностью украдкой бросать блюдце и вертеть ложкой. «Ты что-то бросила?» –

говорил муж. «Господи! вовсе я ничего не бросала». – «Я видел, что ты бросила что-то! Зачем же ты утаиваешь? Отчего ты не хочешь сказать мне?» – «Господи, да вовсе я ничего не бросала!» – «Я сам видел». Муж, рассерженный ложью, сердито хлопал дверью.

«Господи, – рассказывала жена приятельнице, – пришел, наорал, накричал, изругал... как какую самую последнюю... и за что? Ей-богу, только что вот этак-то блюдцем с Сеней играла... Господи, пошли ты мне смерть». Дети, уstraшенные ужасом сцен, происходивших при появлении родителя, привыкли видеть в нем лютого зверя и врага матери. От «папеньки» старались прятаться, потихоньку думать, потихоньку делать и проч.

Так и пошло дело. Страх въедался в детей, рос, рос; бесполокщина растеряевских нравов, намеревавшихся идти по прадедовским следам не думавши, запуталась в постоянных понуканиях жить сколько-нибудь рассуждая. Растеряева улица, для того чтобы существовать так, как существует она теперь, требовала полной неподвижности во всем: на то она и «Растеряева» улица... Поставленная годами в трудные и горькие обстоятельства, сама она позабыла, что такое счастье. Честному, разумному счастью здесь места не было.

Не имея охоты оставаться в чайной, Порфирыч потихоньку спустился вниз, где были устроены две комнаты для детей.

У маленького продолговатого окна стояла дочь генерала с лицом, убитым какою-то тупою ненавистью. Яркое вечернее

небо так приветно сияло перед ней, и чем больше прелести прибавлялось в нем, тем тупее, злее делалось лицо девушки, потому что бестолково возмущенная душа ее упорно отталкивала эту, посылаемую небом, ласку.

– Семен! – нетерпеливо и раздраженно заговорила она, – отдай мою книгу... я читаю... Отдай!

Семен лежа держал в руках книгу, бегал глазами по строкам и не видел ничего, подавленный тою же, висевшею надо всем домом, тупою тоской...

– Отдай мою книгу-у! Семен!

Книга с шумом летит в угол.

– Свинья!

– Ска-тина!..

Прохор Порфирыч потихоньку поднялся с дивана и ушел.

На дворе он увидел генерала, который вытащил из сада и молча бросил под сарай срубленную вербу.

Очувтившись за воротами, Порфирыч вздохнул свободнее, снова выпустил и растопырил концы галстука и весело тронулся в путь, намереваясь сделать еще один визит, столько же веселый, сколько и необходимый в видах расчета.

Стоял душный летний вечер; скромные обыватели переулков, по которым шел он, не зажигали огней и все «высыпали» за ворота или высунулись в окна, полураздетые от духоты.

В открытое окно из неосвещенной комнаты доносились звуки гитары, и кто-то пел:

Н-не ад-дной ли мы природы
С т-табой, Фе-ня, раждены?

Становилось темнее и свежее.

Прохор Порфирыч стоял под окном маленького домика, выходявшего окнами на площадь, носившую название «плацпарада»: обыкновенно здесь происходят разного рода военные упражнения гарнизонных солдат; окно, с большим косяком кумачу в виде занавески, было открыто. Перед ним сидела девица с папироской и с необыкновенно аляповатой грудью, подпирившей в подбородок.

Распространяя вокруг себя удушливый запах душистого мыла и розового масла, девица едва касалась губами папироски и пискливо говорила Порфирычу:

– Вы бы его привели сюда.

– Пом-милуйте, Таиса Семеновна! Тогда для них не будет этого, так сказать, рвения... Капитон Иваныч не такой человек. Им много будет приятнее, когда ежели в случае, тайно!

Девица улыбнулась.

– Именно правда! – подтвердила изнутри комнат «тетенька». – Для мужчины первое дело – не подавай виду!

Особливо из купеческого сословия, он готов, кажется, себя заложить.

– Да как же-с! дело известное! Он в ту пору, то есть в случае интерес... Он тут голову прошибет, а уж доберется.

По этому случаю, Таиса Семеновна, вы с Капитон Ивановичем обойдитесь строго!.. «Эт-то что такое? Как вы осмеливаетесь?», а потом маленючко сдайтесь: «А конечно, мол, я точно без памяти от вашей красоты...» Ну, и прочее...

– Именно правда! – прибавила тетка. – Дай тебе господи за это всякого счастья!.. Как ты нам от души, так и мы тебе.

– Я истинно только из одного, что вижу я вашу доброту...

– И господь тебя не оставит... Это все зачтется.

– Я так думаю!

Тетенька удалилась в другую комнату; Прохор Порфирыч облокотился на подоконник и покуривал папироску, пуская дым в сторону, для чего всякий раз поворачивал голову назад.

Разговор принял более умозрительное направление: толковали о том, кто вероломнее. Девушка доказывала против «мускова полу», Порфирыч выводил начистоту «женскую часть».

В другой комнате слышалось бульканье наливаемой жидкости.

– Тетенька! – сказала девушка. – Хоть бы вы чуточку подождали... Ну, приедет кто?..

– Я каплю одну. Да опять и так думаю, пожалуй, что никто и не приедет, время постное.

Заскрипела кровать; тетенька легла спать.

– О-о, господи-батюшка, – шептала она, изредка икая... – сохрани и помилуй нас!

В это время к дому с грохотом подкатила пролетка, и с нее свалилось на землю три человека.

Послышалось непонятное мычанье.

– Тетенька! гости! – вскрикнула девица, подлетая к зеркалу и оправляя волоса. – Запирайте ставни.

IV. Суббота

В субботу мрачная физиономия Растеряевой улицы несколько оживает: в домах идет суетня с мытьем полов и обметаньем потолков, молотки на фабрике валяют с особенной торопливостью, на улице заметно более движения. Все полагают, что завтра, в воскресенье, почему-то будет легче на душе, хотя в то же время все вполне достоверно знают, что и завтра будет такая же смертельная тоска и скука, только слегка подрумяненная густым колокольным звоном да огромными пирогами, густо намавленными маслом. У генерала Калачова топят баню в складчину – кто дрова, кто воду; вследствие этого через улицу бегают девки, кучера, солдаты с водоносами, ушатами. В бане, по причине стечения множества субъектов обоего пола, идут веселые разговоры. Между вкладчиками, людьми благородными, вследствие разных «амбиций» происходят стычки за первенство обладания баней прямо после выхода генерала. Случаются поэтому ссоры.

Часов с шести вечера оживление еще приметней. Вместе с трезвоном колоколов поднимается стук дрожек и пролетов, развозящих по церквам православных христиан. Торопливо возвращаются с фабрик работницы, женщины и девушки; самоварщики целыми фалангами тащат ярко вычищенные самовары в склады; у каждого в руках по две штуки; изред-

ка они останавливаются, становятся ногой на тумбу и поправляются с своей ношей, подталкивая ее коленом. На фабриках идут расчеты.

В огромной комнате с низкими сводами столпился рабочий народ с книжками в руках и с крайне тревожными лицами: ждут расчета. И странное дело: как нетерпеливы они в то время, когда хозяин как-то бестолково оттягивает минуту расчета, разговаривая с приказчиком о совершенно посторонних предметах, столько же народ этот делается робким, трусливым, даже начинает креститься, когда наконец настанет самая минута расчета и хозяин принимается громыхать в мешке медными деньгами. Начинается шептанье; передние ряды ежатся к задней стене; иные, закрывая глаза и заслонившись расчетной книжкой, каким-то испуганным шепотом репетируют монолог убедительнейшей просьбы хозяину: «Самойл Иваныч!.. ради господ бога! Сичас умереть, на той неделе как угодно ломайте... Батюшка!..» Другие, рассматривая книжки один у одного, фыркают и исчезают в толпе.

– Пожалуйте лашет! – произносит мальчишка лет девяти, в синей рубаше, босиком, с растопыренными волосами.

Хозяин удивленно взглядывает на него через очки и обращается к приказчику:

– Это что ж такое? Откуда он?

– Да я, признаться, Самойл Иваныч, – говорит приказчик, тронув шею и складывая руки назад, – признаться сказать,

в эфтим не могу вас удостоверить... то есть откуда он взялся.

– Давно ли он?

– Да боле, пожалуй, недели... Эт-та, ежели изволите вспомнить, на прошедшей неделе хлеб у нас ссыпали... Ну, я обнакновенно в сарае-с! хлопоты... Вижу, стоит посередь двора вот этот самый кавалер... Я, признаться, крикнул ему: «будет, мол, тебе башку-то чесать, иди помогай!..» Н-ну, он и стал... Дали ему потом в кухне поесть... Так вот и того... кое-что помочи дает-с.

– Пожалуйте лашет! – настоятельно повторил мальчик.

– Тебя кто это научил расчету-то просить?

– Большие научили...

– Большие? Ну, это они для смеху.

В толпе смеются, мальчишка молчит...

– Мать-то есть у тебя? – спросил хозяин.

– Нету, я теткин.

– Стало быть, от тетки родился?

Раздался дружный смех толпы, и сам хозяин весело закрихтел от своего смешного вопроса. Мальчишка в первый раз задумался над своим происхождением.

– Что ж ты у тетки-то делал?

– Побирались...

– Где ж она теперь?

– Она упала... ушиблась, в больницу увезли...

Все молчали.

– Как же теперича его считать? – спросил хозяин у при-

казчика.

– Да так, я полагаю, считать, что, собственно, прибуд-
ный-с... на этом счету его и оставить... Бог с ним – пушай...
Куда ему?

Хозяин подумал.

– Все, я чай, приставу надо сказатья?

– Н-н-ет-с!.. Я так полагаю, господь с ним... Пушай его.
Все что-нибудь в хозяйстве поможет... Бог даст, вырастет,
получит свое понятие, тогда уж его дело-с... а может, и еще
кто из «своих» сыщется.

Хозяин дал мальчугану гривенник. Тот бросился ему в но-
ги, брякнувшись об пол всем, чем только можно брякнуться
– лбом, локтями, коленками...

Толпы рабочих, выходя из ворот фабрики, разделялись на
партии – одни шли прямо в кабак, другие сначала в баню
и потом в кабак. Бани полны народом; вся река покрыта те-
лами купающихся; в купальнях идет гам, крик, хохот; наро-
ду тьма, от большинства отдает водкой; все это норовит за-
браться «под самый перемет» купальни и оттуда нырнуть в
воду. Берег реки около бань запружен купающимися. Чер-
ные фигуры мастеровых торопливо срывают с плеч чуйки,
рубашки; слышен говор, смех...

– Ну-ко, господи благослови! – говорит мастеровой и с
разбегу летит в воду, откинув напряжением ноги большой
кусок земли от берега; вытянутыми вперед руками он вре-
зывается в воду почти вертикально – и исчезает, взболтнув

ногами...

– Нырок! – говорит кто-то...

Мастеровой вынырывает среди реки и принимается отмеривать саженьями, взмахивая головой в сторону, чтобы откинуть мокрые, закрывшие лицо волосы.

Дальше за банями, где берег уложен высокими стенами навоза, в мутных лужах полощутся мещанские девицы, опасаясь на аршин отделиться от берега, так как платье их может быть ежеминутно похищено разного рода юношами. Как-то смелая баба, с головой, обвязанной платком, решается выплыть из лужи на реку.

– Ха-а, ха-а, ха-а! – грозно вскрикивает мастеровой и пускается за ней вдогонку, необыкновенно сильно и искусно работая руками. Баба в испуге поворачивается назад, взбивая ногами целые фонтаны.

На Большой улице с шумом железных засовов запираются лавки; мастеровые с работами рыщут от одной лавки к другой. Новые времена, отозвавшиеся в торговле, не поддаются на единственное доказательство мастерового: «Христа ради!»

В ярко освещенной лавке стальных изделий сидит на диване молодой хозяйский сын в пестрых брюках; у прилавка, с ящиками разных стальных мелочей, стоит приказчик. Тут же, в качестве посетителя, присутствует лакей, держа под мышкой целый узел разного оружия.

– Так уж я так барину и передам-с, – говорит он.

– Так и скажи, – говорит хозяин.

– Конечно, мне какое дело, мне приказано, скажи, говорит, ему (вам-то), что у меня этого оружия в избытке... Я так вам и передаю... хоть достоверно понимаю, что у них этого избытку не токмо в оружии...

Лакей шепчет.

– То-то и есть! – говорит хозяин.

– Верите ли? – многозначительно произносит лакей, скрепив руки.

– Ихнее дело прошло-о!

– Это как есть!.. Я теперь вижу, к чему идет-с... Теперь попрет купечество... вот-с! Оно теперича еще не почувствовалось как следует. Дай ему обглядеться, б-беда! Оно теперь робеет... Вот я вам скажу – один купец купил у нашего ба-рина коляску... а ездить-то боится... Еще робеют-с!

– Капитон Иваныч! – громко произносит мастеровой, появляясь на пороге лавки. – Отец! Что ж мне, околевать, что ли, на улице-то?

– Черти! Что у меня, бык, что ли, с позволения сказать, отелился? Из-за чего я должен разоряться? Ну, купи ты у меня! Видел товару-то? Ну, купи!

– Куда ж это деваться мне теперь?

Хозяин молчал.

– Толкнись к Шишкину... Аль уж, в самом деле, у меня монетный завод? Только и прут, что ко мне... Ступай!

Мастеровой уходит, отчаянно потрянув головой...

В отворенные двери лавки видно еще несколько мрачных фигур, медленно лавирующих мимо. Они сходятся на углу; слышны слова: «Как тут быть, а?», «Дух вон, – хлеба не на что купить», «Ну, время!..»

Скоро между ними показывается чинная фигура Прохора Порфирыча. Товар его завернут в платок и засунут в рукав, а рукав, в свою очередь, засунут в карман, так что все-таки Прохор Порфирыч ничуть не теряет благородного вида. Неумелые в современных разговорах мастеровые обступают его со всех сторон; слышны просьбы, какие-то клятвы, «за что ни отдать».

– Я, ребята, обещания вам не даю, – говорит чрез несколько времени Порфирыч, – а попытать попытаю.

– Отец!

– Погодите, друзья; сами вы разочтите, какая в этом деле нужна словесность... раз! Окромя того, должен я под него, ирода, подводить махину не маленькую... два! Все это хлопоты! Дело это, приятели, нелегкое... По этому случаю я уж с вас, ангелы, по полтинничку получу...

– Гряби! Хоть бы мало-мало... Палтинник! Гряби смело!

– То-то!.. Ну-кось, вали сюда.

Пять пистолетов падают в расставленный платок.

– Ну, – говорит, улыбаясь, Порфирыч, – творите молитву!

И чинно входит в лавку...

– Мое почтение! – провозглашает хозяин.

– Все ли в добром здоровье? – произносит Порфирыч, по-

чтительно снимая картуз.

Хозяин почему-то таинственно прищуривает один глаз.

Порфирыч утвердительно кивает головой. Между ними, очевидно, какое-то тайное дело.

– Так уж вы так вашему барину и доложите, что, мол, у нас у самих товару некуда девать... Опять же, это ихнее оружие не по нас, нам в теперешнее время нужна вещь грошовая, ярмарочная.

– Это само собой...

– Вот что-с! Нам теперича нужна вещь, лишь бы кое-как сляпана... Убьешь – хорошо; не убьешь – еще того лучше: зачем бить?

– Именно, правда ваша! – подтвердил лакей. – Я так вам докладываю: мое дело – исполняй: приказано сказать «от избытка», я исполняю, но достоверно знаю, что не токма...

Следует шептание: хозяин поддакивает, издавая какие-то звуки вроде: «гм... гм...» или: «д-да! во-от!» и проч.

– До приятного свидания, – заключает лакей.

– Будьте здоровы!

Лакей уходит. Лицо Порфирыча превращается в радостную улыбку...

– Ну? – спрашивает строго и любезно хозяин, отводя его в сторону.

– Готово-с!

– Врешь, мошенник!

– Сейчас умереть!.. Я вам, Капитон Иваныч, такую девицу

разыскал, истинно пшено! Провалиться!

– Прохор! Я тебя убью!

– Как вам угодно! Это именно уж сам бог вам помогает...

– Ежели ты в случае врешь, – сейчас умереть, так и разнесу!

– Что угодно! Я ей, Капитон Иваныч, так говорю: «Таинька! Вы их любите?» Вас то есть!..

– Ну?

– «Даже, говорит, до бесчувствия влюблена...» – «А когда, говорю, вы влюблены, то вы и должны удостоверить Капитона Иваныча в полном размере...»

– Ну?

– «Мне, говорит, стыдно; пушай, говорит, они меня сами вовлекут...»

– Первое дело!

– Н-ну-с; по этому случаю завтрашнего числа назначено вам быть в рощу... там дело ваше! Главная причина, маменька их очень строга, а насчет Таисы – вполне готова! Можно сказать одно: влюблена!

– А ежели врешь?

– Как вам угодно! Я подвел дело. Теперь трафьте сами...

– Я натрафлю!.. Верно ты говоришь?

– Издохнуть на месте! У меня, слава богу, одна спина-то...

Приятное молчание.

– Ну, Капитон Иваныч, – затягивает Прохор Порфирыч, –

с вас тоже магарычу надо будет получить...

В дверях мелькают нетерпеливые фигуры рабочих. Порфирыч грозит кулаком; фигуры исчезают.

– Какой же это магарыч тебе? любопытно!

– Я много не прошу... Нам бы только как-никак перебиться... На вас вся надежда...

Порфирыч не торопясь вытаскивает свой револьвер.

– Ах т-ты, идол эдакой, подо что подвел! Небось опять красную?

– Да уж что делать!

– Клади! Погоди, я тебя и сам подсижу!

– А вот эти рублика по четыре, что ли...

Следует развязывание узла.

– Неси-неси-неси-н-н-н!..

– Капитон Иваныч! Что ж это вы говорите?.. Ради субботы-то хоть снизойдите! Ведь посмотрите вы на эту лузгу, издыхают! А вам все годится... Четыре целковых! он в работе шесть стоит... Это я вам истинную правду говорю... Капитон Иваныч?..

– Клади! Пес с тобой!

Проخور Порфирыч получает деньги и, отделив себе что следует и даже что вовсе не следует, собирается уйти.

– Погоди, – говорит хозяин, – мы с тобой, того...

– Слушаю-с, я сию минуту...

Радостно приветствуют своего избавителя неумелые люди.

И потом так рассуждают:

– Экой у этого Прохора ум, братцы мои!

– Чево это?

– Я говорю, у Прохора ума: страсть!

– О-о! У него ума страсть!

Мастеровые медленно разбредаются в разные стороны.

– Прощай!

– Прощай! до свидания... Ты куда?

– Домой. А ты?

– Я-то? Я, брат, домой... довольно!

Но медленность в походе, остановки и размышления над трехрублевой бумажкой, совершающиеся на каждых двух шагах, весьма ясно рисуют борьбу добра и зла, происходящую в душе мастеровых. При этом добро является в фигуре развале иной избы, в которой на трехрублевую бумажку почти невозможно получить ни единой крупинцы радости, настоятельно необходимой в настоящую минуту; а зло – в форме кабака, где означенная бумажка может сделать чудеса.

Мастеровой делает еще два медленных шага, зло преодолевает, шаги принимают совершенно обратное направление... и скоро только что расставшиеся приятели с громким смехом встречаются у стойки кабака «Канавки».

К ночи над городом нависла большая туча, и пошел тихий теплый летний дождь... Улицы были совершенно пустынные; нигде ни огонька; ярко горели только кабаки и харчевни.

В «Канавке» были растворены окна; из них, вместе с кри-

ками и звоном стекла, лились на улицу яркие полосы света и душливый воздух, раскаленный плитой, на которой клокотали пятикопеечные пироги и селянки; в отдаленной комнате неистово играла шарманка, и огромный бубен ежеминутно и как-то тяжело охал под напором ядреного пальца сева­стопольского героя. Ближе, среди хохота, раздававшегося с неудержимою силою, по временам шло пение. Какой-то тощий портной, оцивилизовавший свой почти прародительский костюм разорванным до воротника сюртуком, пел песенку про вольника², приправляя ее некоторыми жестами. Прежде всего он сделал грустную физиономию, изображая собою старуху, мать вольника, прижал руку к щеке и, всхли­пывая, тянул:

Да и что-о же ты, ди-и-тятко
Будешь тама наси-и-ти?

Тут певец вдруг встрепенулся и с отчаянным ухарством и присядкой торопливо запел:

М-ма-минька – сертучки, – ох!
Сударынька – сертучки, – ох!
Пус-с-кай сертучки-и!
Ну что ж? сертучки-и!
Носить буд-ду сер-ртучки-и!

² Человек, охотой идущий в солдаты

Прохор Порфирыч, щедро упитанный Капитоном Иванычем, нетвердыми шагами возвращался домой и, вследствие непроходимой грязи, растворившейся в Растеряевой улице, поминутно поскользнулся на глинистой тропинке и хватался рукою за забор

– Эт-то кто такой?.. – вскрикнул он, натыкаясь на что-то живое...

– Да что, друг, шапки никак не сыщу...

– Кто ты такой?

– Я, брат, не здешний. Никак, провалиться, не сыщу этого демона, шапки...

– Что же ты, леший, безо время шатаешься?

– Да все, друг, теплого места ищу, которое ежели бы место, иной раз, сухое...

– Смотри, не попади в теплое-то!

– Я сам, братец, так полагаю... Надо быть, попадешь... во-во-во... Ах ты, анафема! вот она, шельма... ишь! Запотела!

Раздается хлясканье об забор мокрой шапкой...

Прохор Порфирыч пробирается далее... Усилившийся, но такой же тихий дождик чуть-чуть шумит в листьях деревьев.

Совсем темно.

У одних ворот возится с лошадью пьяный извозчик; в темноте он растерял вожжи; лошадь переступила через оглоблю и, подаваясь назад, подвернула передние колеса под дырявые и изломанные дрожки, которые вследствие этого свалились набок.

– Тпр-р... Тпр! – ласково говорит извозчик, засев по колено в грязь и отыскивая во тьме лошадиную морду. – Тпр-р-рю... Тр-р... Нич-чего!.. Тр-р... Милая!

Прохор Порфирыч, видя беспомощное положение хмельного человека, хотел было сначала посоветовать ему постучись, мол. Хотел потом сам постучаться, но раздумал... «Шут их возьми!» И заключил размышлениями о том, какой человек свинья, ибо завсегда рад облопаться и насчет водки не имеет меры...

Извозчик все копошился в грязи. Лошадь поминутно шлепала в грязь переступившею ногою. Дрожки скрипели.

В непроницаемо темных сенях избы Прохора Порфирыча стояла Глафира и подмастерье. От Кривоногова отдавало вином.

– ...Это разве возможно, – шептал он над самым ухом Глафиры, – извольте послушать. «Хочу в маскарад, ты пьяница, невытая мочалка, вонючая рогожа». – «Я?» – «Ты...» – «Изволь! Ступай с богом». – «В лучшем костюме!» – «Сделайте вашу милость...» – «Я благородная! ты харя!» – «Как вам будет угодно: на бал – на бал, харя – харя! как ваша душа желает...» Дверью хлоп, ушла... Потом, того, слышу, с офицерами... Доброго здоровья!.. Это как же?

Вопросительное молчание. Глафира вздыхает.

– Или, – говорит Кривоногов снова, – как вам покажется... Повенчались мы с ней; все как следует: гости, шанпанское (околеть, было-с!). Отходим в спальню: как есть

муж и жена... Я... Ну, она же, например: «Прочь отсюда... тварь!..» Благородно? Или как, по-вашему?..

Опять молчание.

– Ну, и валялся, как пес, у порога... «Вон отсюда!» И уйдешь в кухню... Это жизнь?

Шум дождя начинал слышаться яснее среди безмолвия улицы. Около повалившихся дрожек и спутавшейся лошади возился другой извозчик, уже сам хозяин квартиры и лошади, с фонарем в руках. Он сердито дергал лошадь за узду и злобно кричал: «Ног-гу! н-но!» Слышалось ярое хлясканье кнутом об лошадиную морду. Лошадь билась. Извозчик то-ропливо и сердито бормотал:

– Пр-р-апоица!.. Мало ты учен?.. Ж-животное! Н-но!

И снова свист кнута...

– Кум! – глухо говорил пьяный извозчик, скрывшись где-то в темноте.

– Право, ненасытная утроба!.. Как ни бьется, как ни бьется, а уж к ночи готов! Па-адлец ты эдакой!..

– Кум! – сонно бормотал пьяный.

Извозчик с фонарем молча возился около дрожек. Сальный огарок в фонаре разливал тусклый свет на небольшое расстояние кругом, отчего три большие осины, кучей столпившиеся за забором и слегка освещенные снизу, уходили в темноту своими вершинами и казались бесконечными.

Отворив окно, Прохор Порфирыч присел к окну с папироской; хмельная голова его клонилась на грудь. С крыши

лил дождь; где-то вдали с легким гулом вода била в пустую еще кадуюшку.

– Господи! – шептал Порфирыч. – Сохрани и помилуй р-р-ра-ба твоего!

Лил дождь.

– Ка-ар-ра-у-у-ул! – бушевало где-то далеко.

V. Идут дни и годы

«...Горе по горю», – говорит пословица, а стало быть, и в Растеряевой улице все по-старому. Только вид ее и физиономия изменяются сообразно временам года вот отошли ясные, свежие, осенние дни, поднялись со всех концов неба сизые тучи, заморосил нескончаемый осенний дождь – подошла глубокая осень. Растворилась грязь, настала непроходимая топь, и отовсюду навалилась какая-то непроглядная тоска. Ежятся голуби под князьком крыши, пряча носы в перья, и встряхивают в студеном просонках мокрыми крыльями. Ежятся обыватели и устами старух говорят: «Господи! хоть бы зима поскорей!..»

Но вот начались крепкие утренние заморозки; подошел Варварин день, и повалил пухлый, рыхлый снег. В одну неделю покрыл он и улицу, и крыши, и верхушки заборов нежным и рыхлым снежным пологом, из-под которого, словно лица мертвецов из-под савана, смотрят черные, гнилые, полуразрушенные растеряевские лачужки. Ударил мороз, повисли на крышах сосульки, понеслись ледянки, зашумела метель и завывала по-волчьи в развалившейся трубе.

– Эка стыдь, эка стыдь! – твердят старухи, кутаясь на холодной печи. – И когда это только весна придет!..

А тут, глядь-поглядь, и весна: вдоль всей улицы с шумом несутся потоки, унося с собою, в какую-то неизвестную сто-

рону, все, что только накопилось, все, что было выкинуто на улицу зимою. Но эта картина топи и разрушения не производит, однако, того мертвящего впечатления, какое бывает осенью. Теплые, блестящие, греющие лучи солнца, воздух, окрашенный золотом этих небесных лучей, зовут жить. Без умолку трещат воробьи, громко, хоть и устало, каркают отошальные вороны; насильно выпихнутая из закуты корова, еле передвигая ноги, выползла на середину улицы, да так и заγκоченела под благодатными солнечными лучами; по целым часам не ворохнется она ни одним членом; впалые бока ее, подставленные солнцу, чуть колышутся едва приметным дыханием; глаза тупо смотрят в одну точку. Иногда, разогретая теплом солнечных лучей, она медленно подгибает колени и валится боком на теплую и мокрую землю, испустив глубокий вздох. Галки и вороны бодро разгуливают по ее дымящейся спине, поклевывая в нее острыми носами, но счастливое в эту минуту животное не замечает обиды.

Подошла страстная неделя. Громко загудел звучный колокол, а игривый ветер разнес эти звуки по окрестности.

В эту пору хороша даже и Растеряева улица.

А дни идут все теплей и ярче. В яркой зелени дерев исчезли черные вороны гнезда; под заборами и посреди улицы пролегли извилистые, крепко протоптанные тропинки; солнце начинает припекать.

– Вот и лето! – говорит обыватель, и, сказать по совести, говорит не без тайного ужаса, потому что впереди, в неиз-

вестном количестве будущих годов, видится ему то же тоскливое ожидание проливных дождей, вьюг и метелей.

И опять все то же!

То же и в жизни. Правда, между постоянной борьбой с нуждой и ежеминутными отдыхами от нее в кабаке в наших нравах бывают минуты, когда несчастным растеряевцам удастся «отчунеть», то есть когда в отуманенные головы гостем вступает здравый рассудок, но область, над которою хозяйничает этот рассудок, так мала, что об ней можно говорить только между прочим, хотя, по-видимому, рассудку есть над чем поработать в эти минуты весь мир божий, от понимания тайн и красот которого растеряевец почти отвык, является множеством неразрешаемых вопросов. В эту пору ново все, что ни попадает на глаза. Между тем крошечные минуты «отчунения» – плохой помощник в таком множестве запутанных дел... Убитый обыватель наш в ужасе успевает только схватиться за свою разбитую голову и, не устояв под напором нахлынувшей на него тоски, спешит снова успокоиться в том же властительном кабаке. Не обладая способностью изображать всю трагичность этих коротких минут, я тем не менее буду продолжать мой рассказ о Растеряевой улице, удерживаясь по возможности в области деяний, совершающихся в трезвом уме и здравом рассудке, хоть и не ручаюсь за то, что желание это может быть осуществлено. Трудно не «пить» в Растеряевой улице.

Впрочем, мы познакомимся и не с пьяницами только.

Оставим на время Прохора Порфирыча – он живет так, как жил и прежде, – и будем рассказывать о других растеряевских «замечательных» личностях. Первое место между ними, без сомнения, принадлежит растеряевскому «и иных мест», то есть иных переулков и закоулков «растеряевской округи», известному врачу, или, как он сам себя называет, «медику» – Ивану Алексею Хрипушину. О нем мы теперь и поведем речь.

VI. «Медик» Хрипушин

Военный писарь Хрипушин с давних пор слыл в растеряевской округе (и в особенности среди растеряевской чиновной мелкоты) за человека, обладающего весьма большими познаниями, и за искусного врача. Будучи человеком талантливым, он не только умел избежать общей участи наших доморощенных талантов, то есть одиночества и беззащитности, но, напротив, постоянно внушал к себе уважение и даже страх. В объяснение этого должно сказать и то, что он ни в чем не следовал примеру наших доморощенных талантов он не выдумывал *perpetuum mobile*, не ломал головы над устройством какой-нибудь хитрой машины, из-за которой забываются жена и дети и которая оказывается уже выдуманною.

Нет, талант Хрипушина был из непогибающих. Цели его были гораздо проще: ему желательно было каждодневно посещать по возможности все растеряевские кабаки и в каждом проглотить по рюмочке.

Достойные цели эти достигались Хрипушиным весьма успешно. Одною из главных причин этих успехов была, по правде сказать, самая его физиономия. Отроду никто не видывал более убийственного лица. Представьте себе большую круглую, как глобус, голову, покрытую толстыми рыжими волосами и обладавшую щеками до такой степени крепки-

ми и глазами, сверкавшими таким металлическим блеском, что при взгляде на него непременно являлось в воображении что-то железное, литое, что-то вроде пушки, даже заряженной пушки.

Эта кованая физиономия была вся налита кровью, которая до хрипоты стиснула его короткую шею и выпирала наружу огромные серые глаза, которые сами по себе могли поразить человека робкого. Маленький, как пуговица, нос и выпуклости щек были разрисованы множеством синих жилок. Общий эффект физиономии завершался огненного цвета усами, торчащими кверху наподобие кривых турецких сабель. Все это, взятое отдельно и в совокупности, делало, как увидим, удивительные вещи.

Все другие достоинства Хрипушина терялись перед громадностью впечатления его физиономии и служили только как бы подкреплением ее ужаса. К этим качествам его относилась, между прочим, и медицина, которая никогда бы не получила у растеряевцев должного уважения, если бы об этом не позаботился Хрипушин.

Все, что только способно произвести такой эффект, какой производит на детей сказка о жар-птице, все было тщательно собрано им и в разное время заявлено пациентам: рассказаны были случаи с лягушкой, засевшей какими-то судьбами под череп одной купчихи и искусно вырезанной оттуда доктором-мужиком, и т. п. Первое впечатление, произведенное Хрипушиным на пациента, было всегда так велико, что ни-

какая нелепица не могла повредить его авторитету в глазах слушателей. Напротив, слушатель всеми мерами стремился к тому, чтобы как-нибудь объяснить себе причину только что изображенного Хрипушиным чуда, и, не объяснив, ждал себе спасения все-таки от Ивана Алексеича. В таких случаях лавировка, которую производил Хрипушин, стараясь избежать объяснения, была опять-таки вполне достойна его таланта.

Он начинал, по обыкновению, сиздалека, понемногу отклонялся от предмета и доводил дело до того, что успевал осушить с пациентом не одну бутылку водки, после чего начиналось пение духовных гимнов и было не до объяснений. Бывали, впрочем, случаи, хоть и весьма редкие, когда пациент весьма настойчиво обращался к Хрипушину за объяснением непонятной вещи. Тогда Иван Алексеич, с прежнею бодростью и готовностью, снова брался объяснять дело и снова на середине фразы восклицал:

– Да вы, Иван Иваныч, лучше всего вот как... Вы позвольте мне хоть двадцать-то пять копеечек, а я вам всю эту комиссию в книжке доставлю. Рассказывать всего не расскажешь, а вы бы сами взяли книжечку?.. Ей-богу! Всё, авось, почитаете...

– Ну что ж, сделай милость!

Хрипушин получал требуемую сумму, засовывал ее за обшлаг рукава, где хранилась у него целая кипа каких-то бумаг, и говорил:

– И во сто раз будет для вас лучше. Опять книга редкостная и (прибавлял он шепотом) строго запрещена.

– Э-э?

– Да-с! Следят-с, и даже весьма опасно... так что ежели в случае чего, боже избави...

– Бог с ней и с книгой! – говорил, махнув рукой, пациент, – попадешься еще... Ну ее! Не носи!

– Как вам будет угодно!

– Нет, нет!

– Ну, как угодно... До приятного свидания!

Таким образом Хрипушин выходил сух из воды.

Между множеством черт, усиливавших влияние Ивана Алексеича, была непроницаемая таинственность, которая окружала его. Никто не знал, какого он происхождения, откуда и как попал в наш город. Вопросы эти рождались в умах пациентов потому, что сам Хрипушин иногда намекал на свое благородное происхождение, иронически и зло подтрунивая над своею солдатскою шинелью. О таинственности происхождения Хрипушина заставляли думать и невероятные познания, которыми он умел блеснуть где нужно. Растеряевцы полагали, что Иван Алексеич знал решительно все; но полное торжество высокопросвещенного человека Иван Алексеич выносил из бесед с пациентами, состязаясь с ними по предметам, знакомым для них. Главною темою для этих состязаний было Священное писание. Растеряевский обыватель-чиновник всегда с любовью вспоминает свою се-

минарскую жизнь, вспоминает греческую грамматику, когда-то ненавидимую им, герминевтику, гомилетику и проч. Годы чиновничества, конечно, не давали ему возможности упиться вполне прелестью воспоминаний; они выедали в самое короткое время все прежние познания, так что из греческой грамматики растеряевец помнил только: «альфа, вита, гамма», а из герминевтики и из гомилетики только одни названия наук... С такими учеными Хрипушин мог справиться сразу, несмотря на то, что, при всей скудости оставшихся знаний, они были народ задорный и любили спорить о высоких предметах, особенно под пьяную руку. Часто среди глухой полночи, в облаках табачного дыма и неистового орания песен духовного и светского содержания, на пирушке у какого-нибудь чиновника, Хрипушин нарочно заводил спор о высоких предметах и, махая у потолка фуражкой, кричал, покрывая голоса всех:

– Не соглашусь!.. Нельзя! никогда!

– Иван Алексеич! Позвольте!..

– Не могу! Опровергну!

– Пей!

Верх брал, конечно, Хрипушин, ибо впоследствии все спорящие настолько упивались вином, что языки их прилипали к гортаням, а Хрипушин, которого не могли спойть никакие попойки, говорил уже один, и непременно тоном победителя.

– Эх вы! – говорил он, покачиваясь над бесчувственными

собратиями, – спорить! Да имеешь ли ты столько ума, чуцело?

На пациентов женского пола, с которыми ни о каких науках говорить было невозможно, Хрипушин действовал более осязательной таинственностью. Так, входя, он имел обыкновение бросать фуражку в угол и затем с мрачной физиономией говорил:

– Здравия желаю!

– Иван Алексеич! зачем вы шапку бросаете?..

– Оставьте без внимания, – мрачно говорил Хрипушин. – Это мое дело... Как ваше здоровье?

– Иван Алексеич, батюшка, возьми шапку на окно: право, душа не на месте!

– Сделайте ваше одолжение, не заботьтесь! это дело мое... и взять я ее оттуда не могу... Успокойтесь!

К довершению ужаса, Иван Алексеич, знавший, что пациентка следит с напряженным вниманием за каждым движением его, начиная пристально смотреть своими огромными глазами в угол, шевелил усами, едва заметно качал головой и принимался грозить пальцем...

– Батюшка! Голубчик! – вскрикивала чиновница, хватая Хрипушина за рукав... – Оставь! Брось... Ради Христа! не мучь!

– Хе-хе-хе!.. Да будьте покойны, что вы-с?

– Будет, будет, ради Христа!..

– Не беспокойтесь! – улыбаясь, говорил Хрипушин. – Вре-

да никакого нету... Только что... Да вы, Матрена Ильинична, вот что... вы позвольте мне хоть двадцать пять копеек: сварю я вам одну специю...

Но как при такой неисходной таинственности, окружающей непроницаемым мраком происхождение Хрипушина и историю его жизни, как, повторяю, при всем этом не возбудить подозрения хотя бы просто-напросто «в беспаспортности» и не попасть вследствие этого в квартал? Хрипушин глубоко понимал это и для охранения своей особы от беспокойств и лишений, причиняемых кварталом, сумел заставить полюбить себя, как родную, необыкновенно умную, но загнанную и заброшенную силу, которую не понимает никто, которую всякий может обидеть и засадить в острог. Пациенты любили Хрипушина и дорожили своим медиком, как раскольники берегут и жертвуют всем ради своих попов. С целью достигнуть этой любви Хрипушин прежде всего старался поднять упавший патриотизм растеряевцев. Во время севастопольской кампании он производил в нашей стороне неописанный фурор... С каким удивительным искусством передавал он подвиги солдата Кошки, ускользнувшего из-под носа целой французской армии!

Не забыта была и баба, которую захватили на английский фрегат, для того чтобы отнять моченые яблоки, которыми она торговала, – без конца! В обыкновенное, мирное время Иван Алексеич действовал тоже при помощи разных иноплеменников, только картины выбирал не столь батальные.

В мирное время он упоминал о том, как англичане предложили сто миллионов тому, кто «с одного маху» нарисует вот эдакую штуку... И что же! Ни один из народов не мог этого сделать...

Взялись «наши» – и в одну минуту! От миллионов наши, конечно, отказались и попросили полштоф вина и фунт паюсной икры. Потом, благодаря Хрипу шину, растеряевцам было известно, что те же англичане предложили двести миллионов тому, кто год пролежит на одном месте; наши опять взялись – и пролежали втрое более назначенного англичанами срока...

Рассказы в таком роде тянулись до тех пор, пока слушатели-пациенты вполне не убеждались в превосходстве нашего народа над всеми народами мира. Когда это было достигнуто, Хрипушин тотчас же принимал унылый вид и с грустью говорил:

– А как у нас эдаких-то людей ценят? стыдно подумать! стыд! срам!..

И затем начинались доказательства: тут упоминалось и о трех денежках в сутки, и об участии изобретателей разных секретов, о механиках-самоучках и т. п. Затем Хрипушин находил удобным выдвинуть на сцену наконец и себя:

– Да вот, – кротко говорил он, – хоть бы и мое дело... Слава богу, пятнадцать али больше годов пользую публику и никогда от нее неудовольствия не видал, а между прочим, позвольте вас спросить, какое же я себе награждение вижу?..

Шинелишка-то эта да фуражка? – это, что ль? Да ведь это и все, на всю жизнь! Еще и теперича, случается, иной раз не евши сутки двое проходишь; ну, а как старость-то придет, тогда как?

При этом Хрипушин вынимал из обшлага рукава скомканный в кулак и изодранный клетчатый платок, торопливо утирал нос и слегка касался глаз, на которых показывались слезы. Благодаря частому морганию заблиставших слезами глаз и в особенности благодаря скомканному, рваному клетчатому платку, Хрипушин приобретал полное сочувствие публики.

– А случись доктор какой-нибудь, будь на моем месте немец? И людей бы морил и миллионщиком бы сделался!

– Это верно! – подтверждали слушатели.

– Да уж я вам говорю! А что же он, будьте так добры, особенного-то имеет? Знаем-то мы, пожалуй, и почище его кое-что... Ну, а еще-то чем берет? Н-нет-с, у нас своих не ценят ни в грош! Немцы-с! ученые-с! как можно, чтобы, мол, какой-нибудь Иван Хрипушин с ним поравнялся!.. А Иван-то Хрипушин иной раз, пожалуй, и с ученым бы потягался... А как вы полагаете?.. Да я вот что скажу: насчет заочного лечения навряд ли, чтобы со мной кто равенство имел...

Рассказав несколько действительно изумительных случаев заочного лечения, причем иногда приходилось лечить не видя пациента и не зная его болезни, так как пациент старался держать это дело в секрете, он восклицал:

– А ну-кошь, немец-то?.. Что он тут выдумает? Язык смотреть? Э-ге, брат!.. Окромья языка еще много чего есть... Позвольте, будьте так добры, уж еще рюмочку... Язык! Нет, ты попробуй этак-то, когда тебе ничего не показывают, тогда я с тобой поговорю!

Хрипушин выпивал вторично и прибавлял:

– А наш брат все без хлеба, все середь улицы валяется!..

Таким образом, при помощи своих познаний, Иван Алексеич достигал того, что каждый день возвращался домой с практики под хмельком. Жил он в глухой улице, и не один, как были все уверены, а с раскольницей-женой, от которой ему не было житья ни днем ни ночью. Можно не ошибаясь сказать, что буйная супруга Хрипушина, выгонявшая своего мужа из дому единственно ради его рыжих волос, и была причиною того, что Хрипушин из боязни, чтобы не умереть с голоду, выдумал свою медицину и всю свою изумительную эрудицию.

В доме супруги он делался агнцем, терял всю свою солидность и думал только о том, как бы защитит свою голову от ударов супруги, грозивших обрушиться на него каждую минуту.

Ко всему этому мне остается прибавить немного. Костюм Хрипушина был: солдатская старая шинель с разнокалиберными пуговицами и воротником, затянутым до невозможности.

На голове он носил фуражку, внутри которой помещался

платок. Насчет способа лечения должно сказать, что Иван Алексеич избирал средства преимущественно радикальные: у одного чиновника, например, с детства сидел в ухе кусок грифеля, – Иван Алексеич предложил ему стать вверх ногами.

Один из пациентов его надорвал живот, – Хрипушин брал больного на плечи и, держа за ноги, встряхивал несколько раз. Вообще деятельность Хрипушина была велика и разнообразна, и количество знакомых большое.

VII. Хрипушин ищет рюмочки

Идет Хрипушин по глухому Томилинскому переулку, одному из бесчисленных переулков «растеряевской округи», и раздумывает, где бы ему выпить рюмочку и закусить икоркой?

Кругом стоит полуденная тишина и зной. Где-то, в отдалении, среди густых фруктовых садов скрипят одним кольцом качели; в стороне слышится удар лодыжкой в забор, и вслед за тем детский голос кричит: «плоцка!», «шестёр!» Звук шагов, раздавшийся под окном у мастерской сапожника, заставил хозяина, сидевшего за работой, поднять голову и засвидетельствовать Ивану Алексеичу почтение.

– Здравствуй, здравствуй, друг! – говорил Хрипушин, трогая фуражку, – как бог носит?

– Ничею, Иван Алексеич! Помаленьку... День без хлеба, два дни так... Хе-хе-хе!

– Доброе дело! Ну, будьте зоровы!

– Счастливо!

Сапожник снова принимается за работу и, тихонько попевая, продергивает обеими руками дратву, постукивает о каблук молотком и поплевывает куда надо, а Хрипушин продолжает свое шествие. За несколько шагов до мелочной лавки он снова принужден снимать фуражку, так как хозяин, завидев Хрипушина, оставил свой зеленый стул, помещавший-

ся на высоком лавочном крыльце, и раскланивался с ним, держа шапку на отлете. После обоюдного приветствия Иван Алексеич, по обыкновению, спрашивает: «как здоровье?» Хозяин поблагодарит, объявляя, что всё слава богу.

Так идет прогулка Хрипушина в ожидании практики. Но вот наконец и самая «практика».

– Иван Алексеич! – раздалось над самым ухом Хрипушина.

В маленькое ветхое окно выглянула физиономия старушкичиновницы Претерпеевой. Старушка кивала головой по направлению вовнутрь комнаты и шепотом говорила:

– Зайди, зайди, отец мой!..

– Здравия желаю! – почтительно произносит Хрипушин, столь же почтительно наклоняя набок обнаженную голову.

– Зайди, батюшка, дело есть!.. Одно только словечко сказать...

– С великим удовольствием!

Хрипушин вступил на маленький топкий двор, нагибаясь в низенькой двери, пролез в сени и наконец очутился в горнице.

Везде на ходу замечал он признаки расстроенного хозяйства, нерадения, неряшливости, везде на глаза его попадались вещи сломанные, разбитые, опрокинутые, грязь, невымытые полы и лужи. «Парадная» комната, куда он вошел, веяла тою же пустынною и отсутствием заботливости; шкаф, предназначенный для посуды, был пуст – на верхней пол-

ке болталась позеленевшая медная ложка, на нижней помещались тарелки с иззубренными и заклеенными замазкой краями. Все семейство Хрипушин застал в расстройстве и негодовании. Четыре дочери Претерпеевых, одетые весьма небрежно, ходили, надувшись друг на друга. Самая старшая из них, обладавшая, кроме невзрачного платья, еще каким-то невероятным коком на самом лбу, наткнулась на Ивана Алексеича в передней и сердитым голосом сказала ему:

– Ах, мусье Хрипушин, ради самого бога, хоть вы усовестите их!.. Это наконец невыносимо! Сил нет!

– Что ж такое-с?

– Да тятенька!

Девица вспыхнула и с сердцем толкнула дверь в кухню.

Иван Алексеич, почуяв общую беду, медленно вошел в комнату и осторожно присел на стул около стола.

– Посмотри-кось сюда, отец, – шептала старушка, поднимая из-за стула пустой графин, на дне которого торчал перечный стручок. – Вот эдаких-то три уж!.. а? день-деньской, день-деньской, без роздыху! Эка жизнь! Господи!

Хрипушин молчал и соображал.

– Намедни, – продолжала старушка, нацеживая из другой посуды рюмку водки, – намедни три раза из должности присылали, управляющий спрашивал, – не мог! Ну, без чувств, как есть, и людей не узнает! а? Эка жизнь! Выкушай, Иван Алексеич... Как же быть-то, отец?.. Нет ли чего-нибудь?

Старушка умоляющими глазами смотрела на Хрипушина.

Тот вздыхал, кряхтел и прожевывал закуску. Где-то, за перегородкой, слышался невнятный бред спящего человека и злой, нетерпеливый шепот сестер: «Отдай мою шпильку! Это моя шпилька!» – «Вот еще новости!» – «Марья! отдай! я закричу!» – «Очень нужно!» – «У! бесстыжая!» Хрипушин все кряхтел и соображал. В комнату быстро вошла старшая дочь, шлепая стоптанными башмаками; в руках у нее был медный изломанный кувшин с водой; не обращая внимания на плескающуюся из кувшина воду, она с сердцем толкала коленями стулья около окон, с сердцем тыкала пальцем в засохшую землю запыленной ерани и с таким же ожесточением затопляла забытый цветок водою.

– Да из-за чего вы изволите беспокоиться? – решился проговорить Хрипушин. – Все, слава богу, благополучно!

– О, ну вас, ради бога!

Слезы быстро наполнили ее глаза, и она бросилась в дверь, стукнув кувшином о притолоку.

– Обеспокоены! – заметил Хрипушин.

– Да, батюшка! – слезно заговорила старушка. – Какое же тут может быть спокойствие!.. Кажется, дрожим, дрожим!.. Опять, пуще всего в том досада, ничего не говорит...

– Молчит?

– Молчит и молчит!.. Что ни думали, что ни делали, ничего!..

– Болезнь трудная!

– М-м-м... – послышалось за перегородкой... – Н-нев-

ВОЗМОЖ-НО!

– Как запущена! – прищуривая глаз, прошептал Хрипушин и покачал головой.

– Запущена? – плача повторила старушка.

– И весьма запущена!

– Батюшка!..

– Н-невозмож-ж!.. – опять раздалось за перегородкой.

В разных углах дома раздалось всхлипыванье.

– Покой-с! Покой дайте больному! – останавливал Хрипушин рыдавшую старушку.

– Видите? – срыву проговорила старшая дочь, на мгновение появляясь в дверях; глаза ее были красны. – Видите? – продолжала она, указывая рукой на перегородку.

Хрипушин изумленно смотрел на нее. Девушка, не говоря больше ничего, повернулась и исчезла, хлестнув пружинами кринолина об стену.

Настало тягостное молчание. За перегородкой не слышно было никаких звуков; слезы исчезли, но общее негодование и грусть говорили, что беда еще не миновалась.

– Так как же, батюшка? – спросила наконец старушка, вытирая глаза концами изорванной шали.

– Да надобно, Авдотья Карповна, подумать-с... Что вы-то печалитесь?

– Ох, отец мой!..

– Вы должны показывать собой пример! Вы – мать! Через ваше уныние, может, еще более у Артамона Ильича недугов

прибавляется?.. Это нельзя-с!.. Да кроме того, с божью помощью, сварим мы кой-какую специю: может, оно и полегчает...

– Специю или что-нибудь, что знаешь, батюшка! а не то свози ты его к бабке в Добрую Гору... Многим старушка помочи дала... Сделай милость!.. Век, кажется, за тебя буду бога молить...

– И это можно... Только не унывайте и не ропщите... А насчет старухи как вам будет угодно: могу и за ней съездить и Артамон Ильича свозить...

– Свози! свози ты его, благодетель наш...

– Извольте, извольте-с... Только не будет ли у вас мелочи сколько-нибудь... На первое время...

VIII. Семейство Претерпеевых

Лет двадцать тому назад семейство Претерпеевых представляло картину совершенно другого рода. В то время Артамон Ильич и Авдотья Карповна только что перебирались, после брака, на житье в эту Томилинскую улицу. Артамон Ильич, длинный сухопарый чиновник, подновивший женитьбою свою тридцативосьмилетнюю физиономию, отличался высокою кротостью и вполне подчинялся жене. Авдотья Карповна была маленькая черноволосая свежая женщина, насквозь пропитанная хозяйственностью: ни одной щепки, нужной в хозяйстве, она не пропускала без внимания и делала все это без крику, без брани, с лицом, постоянно веселым. Впоследствии, когда наконец супруги поселились в своем маленьком новом домике, Авдотья Карповна до того предалась хозяйству, что Артамону Ильичу решительно нечего было делать. Авдотья Карповна не уставая шныряла из кухни в комнату, из комнаты в погребницу, шила, вытирала стекла, выгоняла мух, сдувала пыль и проч. Артамон Ильич благоговел перед женой и тосковал, не имея возможности хоть чем-нибудь содействовать успеху собственного благосостояния.

Счастье самое полное царило в жилище Претерпеевых. Авдотья Карповна старалась, из угождения к мужу, возвести хозяйство до высшей степени совершенства. Артамон

Ильич, не зная, чем угодить жене, безмолвствовал, не пил ни капли водки, не спал после обеда и не носил халатов. Любовь его к Авдотье Карповне, согревшей его сердце, долго стывшее в холостой жизни, была беспредельна. Артамон Ильич, впрочем, не мог с достаточною экспрессиею выразить эту любовь: лицо его оставалось по-прежнему спокойным, даже несколько холодным, и о признательности своей он не говорил жене ни единого слова; тем не менее супруги боготворили друг друга.

Шли годы. У Претерпеевых явились дети, из которых остались живы только четыре дочери. Но и увеличение семейства не было еще в силах поколебать совершенно правдивое боготворение, питаемое супругами друг к другу. Явились новые расходы; Авдотья Карповна завела корову и принялась торговать молоком и творогом. На огороде был разведен картофель, и осенью открыта продажа всех овощей. Все шло как нельзя лучше. Авдотья Карповна одна справлялась с нуждами семейства; Артамону Ильичу оставалось по-прежнему быть покойным и благоговеть. Он так и делал, потому что, когда однажды, в видах соблюдения расходов, он попробовал было отказаться от нового казинетового сюртука, то Авдотья Карповна мало того что сделала ему внушение, но, кроме сюртука, сшила еще новые сапоги. Сама же Авдотья Карповна, по мере того как подрастали дочери, отказывала себе во всем: она по годам трепалась в двух старых ситцевых платьях и носила шаль, которую за негодностью не

хотела надевать даже ее бабушка. Вследствие этих сбережений в комнате дочерей появилось четыре новых сундука для приданого, и в них уже покоилось по нескольку трубок хорошего полотна.

Этими урезываниями собственных нужд в пользу будущего приданого заботы Авдотьи Карповны о дочерях не ограничивались.

Однажды Авдотья Карповна объявила мужу, что желает отдать старшую дочь Олимпиаду в пансион. Артамон Ильич давно уже догадывался об этом желании супруги и, по правде сказать, боялся его. Разные одинокие размышления привели его к убеждению, что «образованность» не принесет его дочерям ничего, кроме гибели. Он обдумал это во всех подробностях, и поэтому что ж мудреного, что, когда жена обратилась к нему за советом, сердце его екнуло. Где возьмет он силы победить этот умоляющий взгляд супруги? Разве хватит у него духа разбить так давно лелеянную ею мечту?

– Как же ты думаешь? – спрашивала убитым голосом Авдотья Карповна, испугавшаяся бледного лица мужа. – Али уж не отдавать? – прибавила она с замирающим сердцем.

– Нет! нет! – воскликнул Артамон Ильич. – Отчего же?

И Олимпиаду отдали в пансион.

В первый раз Артамон Ильич допустил в своих отношениях с Авдотьей Карповной неправду, и душа его была возмущена.

Неспокойна была душа и у Авдотьи Карповны; она под-

глядела бледность на лице мужа в то время, когда дело шло о пансионе, и со страхом подумала: «Неспроста это!» Почудилось ей, что Артамону Ильичу вовсе не хотелось учить дочь.

«А если он не хотел этого, – думала Авдотья Карповна, – стало быть, имел основательные резоны. Артамон Ильич не такой человек, чтобы сдуру что сделать...»

Когда эти соображения залетели в голову Авдотьи Карповны, она в первый раз почувствовала перед мужем какую-то провинность и трепетала каждую минуту, боясь увидеть доказательства собственного промаха. Устроив дочь в «пансион», она с особенною внимательностью принялась следить за каждым движением Артамона Ильича, за каждым изменением физиономии мужа. Прошло много лет; сотни куличей и сдобных булок было поднесено начальницам Олимпиады в день их тезоименитств и в высокаторжественные праздники; дочь перевели уже в последний класс, а Артамон Ильич по-прежнему безмолвствовал, по-прежнему не спал после обеда и не пил водки.

Все было как должно. Раз даже, когда сама Авдотья Карповна чуяла беду неминуемую, Артамон Ильич ни на волос не изменил своей тихости: Олимпиада явилась с просьбою свозить ее в театр.

– Все бывают, – кисло говорила она, – а я нет! Я хочу в театр!

Артамон Ильич молча сделал дочери удовольствие. Как Авдотья Карловна пристально ни смотрела на мужа, в эту

минуту она ничего не заметила и порешила было совсем успокоиться, как случилась новая история. За несколько месяцев до выпуска Олимпиада обратилась к родителям с предложением распустить на всех ее платьях складки. Просьба эта была произнесена таким капризным тоном образованной барышни, с такими энергическими надуваниями губ, что Авдотья Карповна помертвела. К довершению испуга ее Артамон Ильич, преспокойно сидевший у окна, при последних словах дочери повернул голову и посмотрел на нее пристальным взглядом.

Складки были распороты, Олимпиада удовлетворена, Артамон Ильич неизменен, но в жизни супругов не было уже чего-то. Не было правды. Авдотья Карповна, чувствовавшая свой промах перед мужем, понимавшая, что у Артамона Ильича на душе не сладко, приписывала его муку себе, всеми мерами старалась сделать ему угодное и делала все поэтому против собственной своей воли, которую она ставила ни во что и не верила ей. Таким образом, благодаря дочери супруги незаметно разъединились. Между ними не было уже той откровенности, какая царила прежде. В каждом последующем их действии присутствие «конфуза» делало несообразности, каких они никогда и ожидать не могли. Предметом этих несообразностей была все та же Олимпиада, которую все более и более начинала одолевать «образованность».

При каждом требовании ее Авдотья Карповна, из угождения мужу и большею частью против собственного желания,

воскликнула:

– Как это можно!

– Нет! нет! – прерывал Артамон Ильич, пораженный в самое сердце несообразным желанием дочери, – что ты, Авдотья Карповна? Отчего же и не сделать ей удовольствия? Худого нет...

И удовольствие делалось с общего согласия. Наивные супруги начали конфузиться друг друга и хотели взаимным угождением прикрыть свою наготу, словно листком. Благодаря этой добродушной стыдливости все требования «образованности», проявлявшиеся в Олимпиаде, удовлетворялись вполне.

Этому, кроме того, много способствовала безграничная любовь к дочери, которую они не решались огорчить. Таким образом, Олимпиада Артамоновна, смертельно тосковавшая в доме родителей, все время по окончании курса проводила в одном «барском» семействе, где была ее подруга по пансиону. Артамон Ильич знал, что семейство это принадлежит к числу разорявшихся дворян, еле дышащих на последние крохи, но все-таки сам провожал дочь свою туда на вечера «с танцами», так как разорявшееся семейство при малейшей возможности вздохнуть тотчас же задавало балы и разные затеи. Балы эти и другие прихоти Олимпиады Артамоновны повели за собой невероятные для супругов расходы. Явилась надобность в платьях, лентах. Целые дни в доме Претерпеевых шла кройка материй и шитье нарядов; растеряев-

ская портниха, или, как ее здесь называют, «модница», имела здесь полный простор для своей деятельности. Все это вконец измучило обоих супругов.

Артамон Ильич потерял всякое соображение, Авдотья Карповна – всякую расторопность; она как-то осовела и целые дни еле передвигала ноги, будто только что вышла из жаркой бани.

В таком парализованном состоянии супруги опростоволили до того, что, по желанию Олимпиады Артамоновны, устроили в своем крошечном жилище званый вечер, ибо этого требовало «приличие», как справедливо заметила дочь. Услыхав предложение о бале, Авдотья Карповна подумала про себя, что, в самом деле, надо же отплатить господам за их радушие к дочери, но под влиянием побледневшего лица Артамона Ильича воскликнула:

– Что ты! Что ты! Где нам балы задавать... Вот еще, господи!

– Нет, нет! – восклицал Артамон Ильич, посоловевший от этой затеи... – Отчего же? Мы, слава богу, не нищие!

И, в доказательство своих слов, он бросился в лавку за покупками, дрожа всем телом.

– Вот как у вас нонче, Артамон Ильич! – сказал ему лавочник. – Бал!

– Голубчик! – почти со слезами прервал его Артамон Ильич. – Не говори!

Во все время «бала» Артамон Ильич и Авдотья Карповна

походили на каких-то истуканов с оловянными глазами; Артамон Ильич дошел даже до того, что когда кто-то из молодых людей пожелал закурить папироску и попросил огонька, он не двинулся с места и страшно испугался. Но когда забренчало фортепиано и начались танцы, Артамон Ильич очнулся: на физиономиях кавалеров и в их поступках он заметил что-то нехорошее; он видел, как кавалер, взявший Олимпиаду на польку, подмигивал соседу и старался половчее обхватить талию своей дамы; он видел, как в ответ на это другой кавалер многозначительно покашливал и слегка поддакивал ему утвердительным кивком головы. Иногда Артамон Ильич, словно в забывчивости, делал шаг по направлению к танцующим, чтобы остановить дочь, повисшую на руке кавалера, но мысль, что эти кавалеры и все эти благородные барышни будут смеяться потом над Олимпиадой, останавливала его, и он снова тащился в угол. В другой раз он инстинктивно отправился в сад, куда перед тем скрылась Олимпиада с кавалером. Но едва он сделал шаг, едва услышал издали веселый разговор дочери, как ноги его почему-то не пошли дальше. Как он проклинал этого негодного кавалера!.. Наконец, когда дочь его сердито крикнула: «Это что за новости?», Артамон Ильич бросился к беседке и хотел оборвать кавалера, но почему-то только кашлянул и поспешил уйти.

Рано ли, поздно ли, а все эти увеселения кончились. Олимпиаде Артамоновне пришлось жить исключительно в доме родительском, и она действительно страшно скучала.

Гнев ее возбуждало все, начиная от захолустья, где жили они, до кривого зеркала, в котором самое ангельское лицо превращалось в лицо сатаны. Кроме того, Олимпиаду Артамоновну мучило то, что после разлуки с «высшим» обществом ей решительно негде было показать себя и своих нарядов: единственный пункт, где собиралось общество, была церковь, но кого же приходилось ей встречать здесь: мастеровых, сапожников, мещан, чиновников с запахом водки и с небритыми бородами.

Она одна по целым дням сидела дома, и ей не с кем было слова сказать...

– Отвращение! – с сердцем говорила она.

Артамон Ильич безмолвствовал.

Прошло три года; подросли другие три дочери, образование которых было возложено на Олимпиаду Артамоновну и которые, вследствие этого, не знали ровно ничего; они позаимствовали у сестры только манеру надуть губы, весьма выразительно говорить: «атвращение», и начали выступать против родителей с собственными протестами, пользуясь тем, что протесты сестры переносят родители беспрекословно. По примеру сестры, они роптали насчет складок и т. п. Авдотья Карповна, не считая их образованными, пробовала было прикрикнуть на них

– Вы-то что? вам-то какого еще рожна недостает? – сердилась она.

– Маменька! Это что такое? – вступалась Олимпиада. –

Так только на горничных можно кричать... Мы не горничные!

Авдотья Карповна замолкла. Протесты, таким образом, повалились на стариков градом со всех сторон... Года через два-три они уже сводились, к счастью, на одно только требование «жениха». В недовольных физиономиях дочерей родители явственно читали это требование: даже Олимпиада Артамоновна, кажется, не прочь была в настоящую минуту от посещений хотя бы и растеряевского кавалера.

– Ну, Артамон Ильич, – сказала наконец как-то Авдотья Карповна мужу. – Тащи женихов, ваших-то, палатских!

– С великим, матушка моя, удовольствием! – обрадовавшись, отвечал Артамон Ильич.

Никогда супруги не были так радостны и веселы... Но радость их была недолга.

По всей «растеряевщине», во всем соседстве Претерпеевых, про них шла уже молва. Томилинские дамы были обижены неприглашением на балы, томилинские кавалеры – пренебрежением к ним, по случаю знакомства с петербургскими и высокоблагородными, а главным образом вследствие того, что им не удалось отведать тех дорогих вин, которые года два тому назад покупались для благородных гостей. Все это обрадовалось и возликовало, когда, во-первых, узнало от лавочника, что три целковых, должны за стеариновые свечи, до сих пор не заплачены Претерпеевыми, и, во-вторых, когда увидело самого Артамона Ильича, с особен-

ным рвением желающего завлечь к себе нашу томилинскую молодежь.

– Ай!.. подошло! – радостно подмигивая друг другу, говорили чиновники и перемигивались.

– Что же это у вас господа-то помещики петербургские не бывают? – спрашивали они, подсмеиваясь над Артамоном Ильичом.

– Уехавши-с! Давным-давно-с...

– Гм... Уехали!.. Ну, а Олимпиада-то Артамоновна отчего такие всегда тоскливые?..

– Ах, господи Иисусе Христе! – вскричал Артамон Ильич. – Чего тоскливые? Да господь ее знает!

– Господь! – поддакивали чиновники и подмигивали одним глазом.

Таких «кавалеров» Артамон Ильич завлек в свое жилище только тогда, когда обещал угостить вишневкой и на закуску подать маринованных пискарей. Кавалеры наконец начали посещать Претерпеевых. Но, господи, что это были за кавалеры, что это были вообще за люди! Обезображенные бедностью и одиночеством, они словно дикие звери смотрели на постороннего человека. Один вид искаженных физиономий, эти грязные манишки с торчащими из-за галстука тесемками, эти вечно испуганные лица, редко прилипнувшие на висках и на лбу волосы – все это в совокупности могло возбудить отвращение не только в Олимпиаде Артамоновне, но и вообще в человеке, не выносящем неопрятности. Ни один из

них не умел сказать путного слова, то есть просто-напросто кавалеры эти не гот ворили ничего: об чем им было говорить с такой барышней, как Олимпиада Артамоновна, которая говорит по-французски, играет на фортепиано и в разговоре употребляет слова вроде: «афрапировало» и проч. и проч.? Они чувствовали себя несколько свободными только тогда, когда Артамон Ильич просил их выпить водочки; тут они делались истинными артистами, потому что искусство глотания рюмок было доведено ими до высшей степени совершенства. Тут они на взгляд Олимпиады Артамоновны представлялись просто «мужиками»... Отвращению ее не было пределов. Вслед за ней томилинских кавалеров забраковали и другие сестры. Артамон Ильич хотел было вразумить дочерей, что иначе и быть не может, хотел было заговорить, но, увидав, что Авдотья Карповна сочувствует дочерям, стал поддакивать жене и предложил отказать кавалерам.

– Как это можно! – возразила Авдотья Карповна, по обыкновению, против собственного желания.

– Нет, нет! – в свою очередь возражал ей муж. – Нельзя... Великая неволя с такими пьяницами!

Кавалеры томилинские были изгнаны. Тут-то они и показали себя во всем блеске. Застенчивость и конфуз, одолевшие их при Олимпиаде Артамоновне, заменились тою высокою наглостью, на какую способны только одичалые люди. Без ругательств они не могли пройти мимо ее окна и старались, чтобы она непременно слышала их слова. В церкви, на

улице указывали пальцами, примаргивали, присвистывали. Целые истории пущены были в публику про претерпеевскую барышню: рассказывали, что не дальше как третьего дня у Претерпеевых был помещик Арапников, наделавший в прошлом году шуму своим кутежом с актрисой, и будто бы подарил ей брошку.

Некоторые «дамы» рассказывали, что они сами своими глазами видели эту брошку. Другие прибавляли, что Олимпиада была уже вместе с матерью в гостях у Арапникова, и ссылались, в подтверждение этих слов, на извозчика Гришку, который будто бы из гостей привез одну мать. Томилинская скука подхватила на удочку эти новости и целые дни трубила о претерпеевской барышне. Везде, где только ни показывался Артамон Ильич, с ним, не церемонясь, начинали разговор о его дочерях...

Артамон Ильич так упал духом, так был убит всем этим, что, думая восстановить истину, пытался вступать с клеветниками в горячий спор и, не одолев, почти со слезами начал умолять.

– Неправда! – говорил он, – все лгут! Как не грех перед богом?

– Мы, брат, знаем! – отвечали ему.

– Да не верьте вы, Христа ради! Какой это такой и Арапников есть на свете, мы его и в глаза не видали. Я – отец! Я знаю!

– Ничего ты не знаешь, хоть ты и отец! А спроси-кось ты

извозчика Гришку, он тебе кое-что порасскажет.

– Господи! – произносил с отчаянием растерзанный Артамон Ильич и умолял только об одном: не рассказывать этих слухов больше никому...

Но этими муками на улице и в канцелярии мучения его не исчерпывались. Дома мучило его сожаление своих дочерей, своей жены и вид нищеты. Дочери знали, что про них толкуют томилинцы; были обижены ими и поэтому злы... Как на корень зла, негодование дочерей прежде всего обрушилось на Артамона Ильича, который решительно ничего не умеет сделать, даже женихов для дочерей не мог отыскать и пригласил каких-то тряпичников, которые врут про них без умолку всякие нелепости. К довершению картины общего расстройтва в семействе Артамон Ильич заметил вражду между самими сестрами: они поминутно ссорились между собою за ленту, за булавку и причину непосещения их молодыми людьми приписывали Олимпиаде в той же мере, как и отцу. «На тебя никто не угодит! – говорили они ей... – Графа тебе, что ли, нужно? Бешеная!» Артамон Ильич видел, как с каждым днем под влиянием тоски и злобы увядали свежесть и красота его дочерей. Видел, как Олимпиада Артамоновна, сама постигнувшая свои ошибки, смотрела на него как на дурака, не умевшего остановить ее вовремя; видел, как его любимица дочь ходила в изорванных платьях, в стоптанных башмаках, наконец, чуял злобу и негодование, царившее над всем его домом; понял, что все пропало, все лезло врознь, и

желание их с женой сделать жизнь детей лучше не удалось, и вот он сразу запил, а через год-другой сделался просто-таки «горьким пьяницей».

«Растеряевщина» не ожидала такого окончания. Она жалилась над Артамоном Ильичом. Всякий, кто от скуки сплетничал про его семью, спешил помочь ему, если видел, что Артамон Ильич упал на тротуаре и не может подняться.

– Артамон Ильич! Батюшка! Что с вами? Вставайте, сделайте милость! – говорил испуганный сосед... – Пожалуйста вашу руку, я вам подсоблю.

– Не стою! Н-не стою! – кричал Артамон Ильич. – Н-не стоит дураку помогать... Дурак! Дурак я!

– Вставайте скорей, бог с вами! увидят люди, – что хорошего...

Артамон Ильич не соглашался. Если же соседу и удавалось вымолить его согласие, то и после того возни с ним было еще много.

– Вставайте, вставайте! – говорил сосед.

– Не-нет, поз-звольте! – вырывая руку из руки соседа, лепетал Артамон Ильич... – Кто вы? В первый раз в жизни вижу вас!..

– Будет вам, ради бога!

– Н-нет, позвольте!.. И решаетесь оказать помощь беспомощному?.. Кто вы, благодетель мой?..

– Сосед! Сосед ваш... Иванов... Вставайте!.. Дайте руку...

– Извольте-с!.. встану!..

Сосед начинал подымать Артамона Ильича, полагая, что наконец все кончено, как вдруг Артамон Ильич вырывал назад свою руку, снова падал на тротуар и бормотал, стаскивая с головы шапку:

– Н-нет, позвольте... Я перекрещусь!.. Бога я поблагодарю... за вас!.. Он! он, батюшка... владыко, послал...

И Артамон Ильич нетвердою рукою крестил свое лицо, мгновенно затопленное слезами.

Дома Артамон Ильич был молчалив и, явившись в нетрезвом виде, старался забиться куда-нибудь в угол, в чулан, на погребницу и при появлении сюда кого-нибудь из семьи закрывал глаза, притворяясь спящим. Никогда от него не могли добиться слова. Недуг Артамона Ильича вконец расстроил семью. Разоренье дошло до высшего предела. На службе держали его только из жалости и грозились выгнать, если дела пойдут в таком виде «впредь». К бесчисленным заботам Авдотьи Карповны прибавилась забота и о муже. Она ничего не жалела, лишь бы поставить его на ноги; знахарки и разные умные люди шептали над ним, отчитывали по «черной книге», поили всякой всячиной, но ничего не помогало. Хрипушин, неоднократно пользовавшийся Артамона Ильича, оправдывал неуспех лечения тем, что ему никогда Авдотья Карповна не давала закончить его как следует; непременно поторопятся, позовут другого, и все, что сделал он, Хрипушин, пропадает ни за что. Такие оправдания поддерживали в Ав-

дотье Карповые веру в знаменитого медика, и она решилась еще раз обратиться к нему...

После свидания, изображенного в первой сцене, Хрипушин дня через два подъехал к дому Претерпеевых на телеге. Артамон Ильич только что проснулся и был трезв. Когда ему объяснили причину приезда Хрипушина, он тотчас же согласился с женой насчет познаний бабы-знахарки и не сомневался в собственном исцелении, хотя вполне знал, что никакая Добрая Гора и никакой Хрипушин не сделают ни на волос пользы.

Артамона Ильича усадили в телегу; рядом с ним сел Хрипушин. На перекрестке медик и пациент перекрестились, пожелали себе успеха и повернули за угол... Вослед им долго смотрела из окна Авдотья Карповна...

Выехав в поле, Хрипушин почувствовал, что ему совестно перед Артамоном Ильичом, лицо которого ясно показывало, что он ни на волос не верит волхвованиям старух и Хрипушина, а едет лечиться единственно из угождения семье.

Долго между обоими ими тянулось самое мучительное молчание. Артамон Ильич заговорил первый.

– Это ты лечить меня, Алексеич, собираешься? – сказал он с горькой улыбкой.

– Да надо бы, Артамон Ильич, – смешавшись, заговорил Хрипушин... – Надо бы вам... того... попользовать вас...

– Э-э, голубчик! – перебил пациент. – Друг! – присовокупил он, касаясь плеча извозчика. – Повороти-ка ты лучше

всего налево... Вон туда!..

Слева от дороги торчал кабак.

Возница стал поворачивать. Хрипушин безмолвствовал.

Артамон Ильич проснулся в траве около кабака на другой день ввечеру. Хрипушин, успевший во время припадка своего пациента дать несколько благих советов целовальничихе и ее старухе-свекрови, стал торопить его домой. Ему нужно было доставить Артамона Ильича трезвым. Скоро они собрались и поехали.

– Хотя по крайности, ежели уж излечить вас нельзя, – въезжая в Томилинскую улицу, говорил Хрипушин, – по крайности фигуру-то свою хоть на минуту соблюдайте.

– Фигуру-то я... я соблюду! – согласился пациент.

После общих надежд на благополучие, надежд, особенно ревностно подтверждаемых самим Артамоном Ильичом, на столе в горнице закипел самовар, и Авдотья Карповна вступила с Хрипушиным в самый дружеский разговор. Артамон Ильич вышел пройтись в сад. Здесь он прилег на скамейке в беседке и долго-долго рыдал.

В соседнем саду слышался веселый смех, и скоро в беседке, отделенной от Артамона Ильича забором, послышалось бряканье чашек, шипение самовара и, наконец, разговоры.

– Чем же мне угощать вас, господа? – говорил сосед Иванов, оказавший вчера Артамону Ильичу помощь на улице.

– Что за угощение! – отвечали любезно гости, и один из них тотчас же прибавил, понизив голос:

– Соседки у вас, Семен Семеныч, – вот это разве...

– А, понравились? Хотите, посватаю?..

– Неужели же возможно?

– Это уж наше дело!.. Хотите?..

– Брюнетка особенно недурна... Вот бы...

– Э-э-э! – перебил хозяин, – вот вы куда! Олимпиаду! Нет-с, уж на этот счет – извините! Эту я для себя берегу.

– Подлецы вы, каналы, мерзавцы! – во всю мочь гаркнул Артамон Ильич и опрометью бросился из сада на двор, со двора на улицу...

А Хрипушин и Авдотья Карповна восседали за самоваром и продолжали дружескую беседу. Хрипушин истощил наконец все аргументы, которые подтверждали его убеждение в окончательном исцелении Артамона Ильича; в заключение своей беседы он уже взялся за шапку и хотел было упомянуть – «нет ли, мол, у вас, Авдотья Карповна, хоть сколько-нибудь мелочи...», как неожиданно под окнами послышался знакомый голос Артамона Ильича.

– Н-невоз-зможно!.. – бормотал он, стукнувшись плечом в ставню.

Хрипушин, завидев беду, незаметно юркнул вон из комнаты и скрылся.

IX. Осиротелая семья

Артамон Ильич Претерпеев умер; горький недуг, охвативший его в последнее время, скоро свел бедного чиновника в могилу. Авдотья Карповна, казалось, совершенно ослабевшая от несчастий и расстройств семьи, после смерти мужа неожиданно снова очнулась, пришла в себя и поняла, что теперь только от нее зависит все; нищета, исчезновение последних средств к существованию, общее несочувствие или какое-то враждебное отношение к семье Претерпеевых всех знакомых и соседей – все это сразу обрушилось на одну Авдотью Карповну. Бедная женщина вся впала в какой-то припадок хлопотливости и суетни; целые дни шмыгала она своими слабыми, старческими ногами по городу; на плечах ее был надет какой-то невероятно ветхий люстриновый салоп, сгнивший у подола и носивший на спине радугообразные, линялые полосы; ветхая, запыленная и искалеченная шляпка, засаленное прошение, крепко прижатое к груди, – жалостью и тоскою веяли на встречного человека, а тусклые, совершенно безжизненные глаза, в которых нельзя было приметить ничего, кроме тупого страха, заставляли встречного сомневаться в твердости ее рассудка. Целые дни убогую фигуру Авдотьи Карповны можно было видеть то на том, то на другом перекрестке, то на том, то на другом крыльце канцелярии или палаты. Каждый день во всех передних знатных и

сильных особ Авдотья Карповна успевала десятки раз упасть на колени, хватать вельможные ноги и получать утешительный ответ: «Все, что только от меня зависит...» и проч. Помощь и работу дали ей такие же горемыки, понимавшие размеры печалей Авдотьи Карповны, или богатые купцы, старающиеся успокоить свою совесть с помощью черствых кусков кулебяки и позеленелых екатерининских пятикопеечников.

Целый день такой неустанной гоньбы по городу, молений, просьб и слез доставлял Авдотье Карповне возможность не сидеть вечером без огарка сальной свечки и не мучиться без чаю и сахару более трех дней. Вечером, иногда очень поздно, возвращалась она в Томилинскую улицу и, запыхавшись, выкладывала перед семьей добычу с общественной благотворительности.

Нищета и ужас положения были так велики, что ни одна из дочерей Авдотьи Карповны не решалась пустить в ход доморощенной критики и с покорностью пожевывала засохшую, черствую купеческую кулебяку или принималась за шитье и штопанье белья казенных рабочих или вообще за какую-нибудь другую, не совсем сообразную с званием их работу. В эту пору даже Олимпиада Артамоновна не решалась уже более уснащать речь свою французскими оборотами. Иногда только, когда ей приходилось довольствоваться только соленым огурцом вместо обеда или шить какую-нибудь слишком пикантную часть мужского туалета, она решалась подумать, что такое занятие способно ее унижить. Труд в то время счи-

тался делом унижительным.

Так и пошли дела Претерпеевых.

Месяцев через семь-восемь после смерти Артамона Ильича все позабыли о существовании семьи Претерпеевых. Хрипушин, знавший по слухам о печальном положении их, не находил особенно приятным для себя возобновлять знакомство, прерванное смертью пациента; кроме того, он решительно не надеялся отыскать у Авдотьи Карповны не только ничего по части «мелочи», но положительно был уверен, что когда-то хлебосольная хозяйка эта не найдет возможным теперь нацедить ему даже малую пропорцию увеселительного напитка. Хрипушин поэтому и не заглядывал к Претерпеевым, по крайней мере, с полгода и, по всей вероятности, не заглянул бы сюда никогда, если бы к этому времени в нашей улице не зачужались признаки нового времени. Хрипушин ощутил их на убыли пациентов, на проявлениях какой-то недоверчивости в них и на весьма ощутительной скудости угощения. Не раз с горечью запускал он растопыренную пятерню под фуражку и, царапая свою голову, решительно недоумевал: где бы найти тихое пристанище, то есть приличную порцию очищенного и ошалелую от скуки пациентку.

– И что ж это за время! – вскрикивал он, хлопая себя по бедрам и в ужасе выбегая на улицу после неудачного визита. – И где же это видано? В какой земле? Чтобы ежели, например, ты пользуешь человека, и как есть всей душой, а он

тебе только всего, что: «будьте здоровы!» И где же это самое благородство? Ну хоть бы же он на смех, хоть бы он мне в рожу-то плюнул: на, мол, полрюмки, сполосни свое сердце... А то... Ах!..

И Хрипушин снова в ужасе хлопал о свои бедра, качал головой, ахал и почти бегом пускался куда глаза глядят, на «авось»...

Раз, в припадке отчаяния, вследствие отсутствия всякой возможности где-нибудь выудить выпивку, Иван Алексеевич решил на последнее средство: зайти к Претерпеевым. Не без внутреннего волнения подходил он к знакомому домику, чувствуя всю тягость картины, которая ожидает его там. Каково же было его удивление, когда вместо печалей и вздыханий он встретил в семействе Претерпеевых всеобщую радость. Вся семья Артамона Ильича обступила Хрипушина с радостными восклицаниями: «Слава богу!», «Слава тебе, господи!». Все хватали его то за один, то за другой рукав, тащили каждый в свою сторону, чтобы рассказать какое-то неожиданно приятное происшествие, и чуть даже не целовали. Авдотья Карповна, захлебываясь от восторга и дрожа всем телом, пробилась наконец сквозь толпу дочерей и за плечи усадила на стул дорогого гостя.

– Погодите! погодите! – умоляла она дочерей, усаживаясь рядом с Хрипушиным. – Дайте вы мне хоть словечко... хоть словечко!..

– Иван Алексеич! нет, посмотрите, что... Мусье Хрипу-

шин! – трещали, не переставая, дочери. – Позвольте, маменька, дайте я расскажу!

– Дайте вы мне, Христа ради, хоть одно-то словечко!

– Позвольте, барышни, в самом деле! – вмешался Хрипушин. – Позвольте маменьке... Ах ты, боже мой! а? Слава богу! Слава богу!.. Рад! Ей-ей, рад!..

– Так рады, так рады!.. – голосили все...

– Посмотри-кось, какое дело-то! – говорила Авдотья Карповна. – Изволишь видеть, отец мой... Пошли мы к обедне...

– Авдотья Карповна! – перебил Хрипушин, – одну минуту! Нет ли, Христа ради, какой росинки! Верите ли, все нутро изожгло! Ах бы в ножки вам поклонился!

К общей радости, графин с перечным стручком оказался не безнадежно пустым. Хрипушин, торопившись слушать интересный рассказ хозяйки, впопыхах проглотил три довольно объемистых рюмки, крикнул, черкнул ладонью по мокрым усам и торопливо произнес:

– Нуте-с, матушка, благодетельница?.

Авдотья Карповна развела руками и как бы в недоумении начала:

– И не знаю, как это тебе рассказать-то!.. И не знаю, как мне бога благодарить!.. Видишь, отец мой: пошли, говорю, мы к обедне... Месяца полтора тому будет... Стоим у сторонки этак кучкой, ровно бы прокаженные какие: молимся так-то, дескать, когда это господь-то по нас пошлет? Унываем мы таким манером? а Лимпиада все что-то на сторону

поглядывает... «Что ты это, – говорю шепотом, – все на сторону поглядываешь?..» – «Да, говорит, вон посмотрите, какой-то, говорит, мужчина на нас покашивается...» Оглянулась я: точно, стоит мужчина, и нет-нет да на нас глазом и замахнет... все покашивается...

– Покашивается? – глубокомысленно спросил Хрипушин.

– Все покашивается!

– Гм... да-да-да... Ну-с?

– Хорошо! Выходим из церкви, идем домой и, между прочим, нет-нет да обернемся назад, глядь – и он обернулся!..

– Цс-с-с...

– Что за чудо? думаем. Что ему от нас? Думаем себе: верно, так что-нибудь. Однако же прошла неделя, идем к обедне, глядь: опять он!.. И опять он все это как быдто бы...

– Покашивается? – перебил Хрипушин.

– Да-да! Все как быдто бы глазом норовит.

– Что ж? Слава богу! – в умилении произнес медик. – Олимпиада Артамоновна! Как вы полагаете?.. – продолжал он, ядовито прищурив глаз.

– Вот глупости!

– Отчего ж? Пушай его! ничего... Слава богу! Ей-ей! Ну-с, матушка, Авдотья Карповна?..

– Ну, друг сердечный, так это дело и пошло... Где мы, глядь – и он торчит!

– Вот тут самое интересное!.. – сказала Олимпиада не без иронии.

– Погоди, не перебивай... Дай ты мне договорить!

– Дайте, барышня, маменьке вашей договорить... Ну-с?

– Ну, хорошо!.. Так все это и идет... Раз сидим мы так...

дома сидим... скучаем... вдруг подъезжает мужик. «Здесь, говорит, такие-то живут?» – «Здесь...» – «Прислано вам, говорит, вон капуста... в день ангела...» (Точно, Стеша была именинница.) «Кто прислал?» – «Не приказано говорить...»
Пытали, пытали – нет!.. Так мы растрогались, даже заплакали, право!

Хрипушин глубоко вздохнул.

– Ревем, – со слезами продолжала Авдотья Карповна, – и думаем: где это такой благодетель есть?.. За что нам господь милость свою посылает?.. Немного погодя, глядь, воз картофелю... фунт чаю... сахару... и все неизвестно от кого!.. Целковых, поди, на пять он, батюшка, нам всякой провизии презентовал! Каково это?

Хрипушин долго молчал, опустив голову вниз...

– Слава богу! – произнес он, пожав плечами и вздохнув. –

Слава богу!

– Думаю я так, что беспрерывно он это посылает.

– Это который все покашивается-то?

– Да? – вопросительно произнесла Авдотья Карповна.

– Больше некому! – заключил медик. – Больше некому!

Он... Олимпиада Артамоновна?.. Как вы полагаете?..

– Будет вам, пожалуйста!

– Хе-хе-хе!.. Он, он-с!.. Что ж? Слава богу!..

– Сколько мы ни разведывали, – начала снова Авдотья Карповна, – никто не знает... Наконец вчера принесла от него баба ногу телятины... Стали мы ее молить-просить; сначала-то не подавалась... ну, а потом, видит наше умиление, сказала: чиновник, вишь, Толоконников...

– Белокурый?.. – встрепенулся Хрипушин.

– Вот! вот! – заговорили все разом, – всхлаченный такой!

– Знаю!.. – стукнув рукой об стол, закричал Хрипушин. – Знаю!

– Лицо этакое еще суровое...

– Знаю!.. знаю!.. Теперь я понимаю... А? Ай да Семен Иванович! Покашивается! Каков? Прoberу!.. Прoberу, вот как... хе-хе-хе... Каков? Позвольте-ко мне полрюмочки!.. Каково? Молодец!..

Хрипушин, пользуясь общим восторгом, успел опорожнить графин и собрался тотчас же отправиться к Толоконникову для пробрания последнего сообразно его проступкам.

– Прoberу-с! – подмигивая и обращаясь к Олимпиаде Артамоновне, говорил Хрипушин. – Прoberу-у! Нельзя!.. Как можно? Нет!

Авдотья Карповна убедительно просила медика передать этому благодетелю самую безграничную благодарность. Хрипушин обещался примерно наказать преступника и дал слово притащить его в будущее воскресенье к Претерпевым, дабы сама Олимпиада Артамоновна распорядилась с

кавалером, как только ей будет угодно.

Уходя, Хрипушин, вследствие неустойчивости ног, налетел плечом на притолоку и, пользуясь этой остановкой, снова обратился к Олимпиаде Артамоновне.

– Барышня! – сказал он нетвердым языком, – как вы полагаете?.. Покашивается-то?.. э-э? хе-хе-хе...

Х. Жизнь и «ндрав» Толоконникова³

Семен Иванович Толоконников принадлежал тоже к числу кавалеров «растеряевской округи», и, следовательно, сердца «наших» дам и в особенности их сундуки с приданным были не совсем безопасны от посягательств этого юноши. Юноша этот имел от роду около тридцати шести лет, был с виду угрюм, богомолен и, что всего удивительнее, не пил ни капли водки...

Такие качества его, по-видимому, могли бы сулить томилинским дамам полное счастье и благоденствие, между тем на деле выходило не то, так что слово «небезопасны» я употребил с полным основанием. Прошлое Семена Ивановича до минуты поступления его на службу было обставлено множеством разного рода оскорблений: в детстве, в доме родителя своего, дьячка села Толоконникова, он был много бит, единственно ради непроходимого сна и обжорства, которыми были переполнены все годы его детства; в училище он был предметом общего поношения ради неспособности к наукам; затем, исключенный из последнего класса духовного училища, поступил на службу в одну из палат, и здесь к его

³ Под фамилией «Толоконников» здесь изображено то же самое лицо, которое в очерке «Дела и знакомства» носит фамилию Богоборцева.

мизантропии, начинавшей проглядывать в отрывистых ругательствах к сослуживцам, прибавилось еще несколько весьма резонных причин. Неповоротливость, угрюмость и деревенщина, одолевавшие Семена Ивановича, сделали то, что он стал какою-то притчею во языцех чиновников и на долгое время доставил им материал для развлечений во время курения папирос в коридоре. Первые годы служебного поприща Семена Ивановича были едва ли не самыми тягостными в его жизни. В эту пору общее полупрезрение, которым был он окружен, заставило его подумать о себе: у него начало шевелиться в груди что-то вроде сознания, что он несчастный человек, что его надо жалеть, а не насмехаться над ним; а так как над ним насмехались, то он, жалея себя, стал чувствовать потребность мести кому-то... Деревня, училище ни на волос не подготовили его к чиновнической жизни, к чиновническим интересам, и «выбиться в люди», отомстить путем чиновническим он не мог никак; сколько он ни ломал голову над этим предметом, сколько ни старался выучить себя разговаривать и даже ходить так, как его сотоварищи, ничего не выходило из этих многотрудных стараний... Тоска его, по всей вероятности, была бы безысходна, если бы, к счастью Семена Ивановича, ему не предложили другой должности. Новинка этой должности для Семена Ивановича состояла в том, что его поместили в отдельной комнате, в самом углу здания, вдали от тех частей палаты, где кишат рои опротивевших ему чиновников. Семен Иванович занимал-

ся исключительно печатанием конвертов и отправлением их на почту. Чиновники забегали сюда только на одну минуту. Семен Иваныч целые дни оставался в обществе молчаливых сторожей и в обществе бобровой шубы господина управляющего, которая безмолвно висела на гвозде как раз против физиономии моего героя. Тишина здесь была неопиcуемая. Отсутствие людей и человеческих звуков доставляло Толоконникову истинное удовольствие и незаметно навело его на мысль, что одиночество есть настоящее средство для достижения более или менее счастливой жизни. С этого времени, не отдавая себе обстоятельного отчета в своих поступках, стал Семен Иванович устраивать собственное хозяйство.

Со времени поступления Семена Ивановича в должность прошло уже более пятнадцати лет, а он по-прежнему живет один-одинешенек. Хозяйство его доведено до высшей степени совершенства; посмотрите, чего-чего только нету у него: в шкафу, в верхней половине, все полки заставлены посудой, которой хватит на пятьдесят человек: тут и вилки дюжинами, и ложки, и чашки, и проч., и проч., – все подобрано под одну масть, «под кадриль», как выражается Семен Иванович. Нижняя часть шкафа, то есть комоды, битком набиты бельем разных сортов и видов; попадаются даже принадлежности женского туалета, и тоже все дюжинами, все новенькое, нетронутое... По стенам лепятся сундуки; откройте их и загляните туда: платье и летнее и зимнее наложено целыми ворохами, моль бродит по нем, потому что Семен Иванович

никогда еще не решался надеть и носить этого нового платья, – все ему чувствуется, что в нем самом или вокруг него нет чего-то такого, что бы дало ему право стать наравне со всеми, быть как другие, и ему стыдно было одеваться так, как одеваются другие. «С чего такого, подумают люди, вырядился?» – полагал Семен Иванович, и платье гнило в сундуках, ожидая счастливого дня... Хотите вы папирос, Семен Иванович тотчас же предложит вам их во множестве сортов, легких, крепких, хоть сам никогда не выкурил ни одной папиросы.

Хотите вы выпить водки или вина, Семен Иванович мгновенно представит вам и то и другое, хотя сам никогда не брал капли в рот. Словом, все, «что только вашей душе угодно», все найдется у Семена Ивановича; все это лежит недвижимо, наготовлено на пятьдесят «персон», ждет кого-то. И все никого нет, все героя моего одолевает тоска по чем-то, все он нет-нет да прикупит, для собственного утешения, новый подсвечник или сошьет новую шинель на вате и тотчас же навеки погребет ее в сундуке.

Людей знакомых, вообще хоть какого-нибудь человеческого общества, у него нет. Каким-то чудом избежал он пьянства⁴ и поэтому никак не мог заводить знакомства с чиновниками, так как вся жизнь провинциальной чиновничьей мелкоты только и держится (двадцать лет назад было так) на выпивании, похмелье и опять выпивании. Из них

⁴ Его спасала «охота», любовь к курам, к бойцовым петухам, кулачным боям и т. д. См. гл. III.

могли рассчитывать на его знакомство только люди престарелые, прослужившие двойные служебные сроки, непьющие и ропщущие, как и Семен Иванович, на весь божий мир, или, напротив, новички чиновничьего мира, юноши неопытные и тоже страдающие. Семен Иванович мог даже первенствовать между теми и другими; но он знал, что никуда не годные старцы и неоперившиеся юноши не составляют людей «настоящих», самостоятельных, к которым бы Семену Ивановичу хотелось принадлежать. Из таких людей, в ряду его знакомых, был только один купец, который хотя и допускал его откушать чайку, но особенной важности особе его не придавал. Надо было еще чего-то...

Мало-помалу тоска Семена Ивановича начала выливаться в более определенные формы и заявлять более определенные требования. С течением времени все с большей и большей раздражительностью начал он принимать к сердцу такие вещи, как, например, похвала какому-нибудь постороннему лицу. С завистью слушал он, как какая-нибудь кухарка рассказывала про строгость господ и боялась опоздать домой хоть минутой.

Семен Иванович в этом страхе кухарки видел силу и власть барина и считал его не только настоящим человеком, имеющим право жить, но и человеком необыкновенно счастливым. Услыхав какой-нибудь подобный этому рассказ кухарки или горничной, Семен Иванович тотчас приравнивал себя к строгому барину и находил громадную разницу...

«Небось, – думал он, – моя Авдотья этак-то не задрожит!...»

И Семен Иванович вздыхал...

За слишком долгое отсутствие всех приятных ощущений, какие доставляет жизнь, Семен Иванович, в вознаграждение своих долгих страданий в одиночестве, начал требовать с какою-то болезненною жадностью самого безграничного уважения. Разговоры кухарок про строгих господ, хорошие отзывы о «других», вообще все, что составляло чуждую ему жизнь провинциального общества, – все это навалилось на него какою-то громадною тяжестью и заставило его жаждать власти хоть над курами. Таким образом, из Семена Ивановича выходил давно знакомый нам отечественный самодур. Постороннему наблюдателю это казалось совершенно ясным, но сам Семен Иванович очень смутно постигал, чего ему хочется. Самодурство как-то уродливо копошилось в нем.

Вот сидит он один в своей комнате; он только что воротился от всенощной; кругом комнаты у потолка и особенно в углу ярко горит множество лампад; в комнате душно, пахнет деревянным маслом и тишина. Семен Иванович отпил чай; благоговейное ли мерцание лампад или торжественная тишина действует на него, только он упорно молчит; изредка, среди безмолвия, раздается едва слышное пение: «услыши, господи, молитву-у мо-ою...» и потом глубокий-глубокий вздох... Снова тишина, снова пение: «ду-ушу мою к молению...» и снова еще более глубокий вздох...

– Господи, господи! – наконец громко произносит Семен

Иванович.

Входит старуха кухарка. При всей привязанности к женскому полу Семен Иванович никогда не мог осуществить своей мечты – нанять молодую бабу; делалось это, конечно, по тем же самым причинам, по каким он не мог носить нового платья.

Кухарка, кряхтя и охая, направляется к столу.

– Что ты?

– Самовар убрать.

Семен Иванович чувствует потребность добыть из кухарки хоть какую-нибудь крупицу утехи своему наболевшему самолюбию.

– Возьми, – говорит он кротко, и потом прибавляет не без негодования: – То-то, брат Авдотья, у нас всё так! Барин-то когда чай отпил, а ты только, господи благослови, трогаешься за самоваром.

– Нешто у меня сто рук-то?.. Небось не одно дело...

– Молчи! – раздражительно, но неторопливо произнес хозяин. – Ма-алчи! Ты про дела говорить не смей... Ты...

– С чаво ж такое не говорить-то? Экося дело какое!

– Не говор-ри, Авдотья! Слышишь или нет?

Семен Иванович грозно приподымается с дивана; Авдотья отступает, прижав к груди самовар.

– У тебя дела? – продолжает хозяин. – А где же это ты рожу-то нажевала? пришла как щепка, а теперь эво рыло-то... все это от делов?.. Ах ты, бессовестная тварь!.. У тебя дела!

– Ну, пошел мутить!

– Нет, погоди... Стой! Я говорю, где ты нажевала рожу?

– Ты на меня не кричи! Чего ты, воевода какой отыскался? – вскрикивает, в свою очередь, кухарка. – Каки-таки, вишь, дела! Мало, что ль, делов-то? У тебя добра-то эва навалено... все прибери!

Семен Иванович, побагровевший и готовый на отчаянную брань, вдруг почувствовал, что фраза кухарки насчет избытка добра пролила в его сердце нечто беспредельно отрадное; он утих и молча опустился на диван.

– У тебя, – продолжает в том же воинственном тоне кухарка, – эва что всего понапихано!.. Где ни повернись... Ровно бы помещик какой живешь, а я небось одна... Каки-таки дела... Эва-а!

– Ах, дура! – кротко говорит хозяин, – сравнила с помещиком!

– А то что же? У иного помещика еще и этого-то нету... А у тебя погляди-кось! Все убери да подмети.

– Ах, дура, дура! – сладко произносит хозяин.

– Вот те дура!.. Что платья, что белья, что чего!.. Все напасено, незнамо про кого только... Тебе с меня взять нечего, я человек старый... кабы жену взял, тогда и взыскивай с нее! Да и в ту пору с твоим богатырством еще не управишься... А то – одна! Нету делов!

Семен Иванович безмолвствует. Кухарка направляется к двери.

– Погоди! – нежно произносит герой.

– Чего еще?

– Постой... Так, говоришь... помещик... Я-то?

– Да помещик и есть...

– Погоди, Авдотья... Постой минуточку... Много всего, говоришь?

– Обнакновенно много всего... что одежды, что чего!

– Д-да!.. Слава богу!..

Семен Иванович вздыхает. Авдотья ждет нового вопроса.

– Идти, что ль?

– Погоди минуточку...

– Чего годить-то?.. У меня небось есть где хороводиться...

– Погоди же, господи!.. Позволь!

Настает продолжительное молчание. Авдотья ждет. Семен Иванович совершенно растаял от удовольствия, которое доставила ему Авдотья.

– Так ты, Авдотья, говоришь: я вроде как помещик?..

– О, да что это, дите какое разыскалось! Мне ведь...

– Постой, Авдотья! погоди!

Но Авдотья уже исчезла.

По уходе кухарки мысли Семена Ивановича начали принимать самые разнообразные направления; сначала он, поддаваясь новому ощущению, воспроизведенному словами кухарки, горячо благодаря бога за его милости, шептал: «слава богу», «слава тебе, господи» и вздыхал. Свет лампад весьма гармонировал с настроением души моего героя. Затем набо-

левшее и наголодавшееся самолюбие его начало требовать какого-нибудь нового удовольствия. Семен Иваныч, успевши убедиться, что он, благодаря бога, ничуть не хуже других, потихоньку начал помышлять о том, что, несмотря на преимущества, которыми обладает он перед многими виденными им лицами, он не получает должного уважения и не имеет нигде права голоса... «За что? – думал Семен Иваныч. – Что я, хуже, что ль, кого? Слава богу, кажется? Нет, погоди!..» При этом он нетерпеливо вскакивал с дивана и тотчас же садился опять. Разгневанная мысль его мгновенно вспоминает все оскорбления, которые он хоть когда-нибудь получал: Семен Иваныч вспыхивал и решал тотчас же на ком-нибудь сорвать кровную обиду. В жару негодования он вспоминает все ту же свою кухарку Авдотью, которая за несколько минут перед этим не дослушала его разговоров и ушла, несмотря на то, что он весьма ласково говорил ей: «погоди», «постой».

– Авдотья! – гаркнул он, с сердцем распахнув дверь в кухню. – Поди сюда!

– Это еще чего, вот...

– Не разговаривать! Я эти разговоры-то слышал... Пошла сюда!

Семен Иваныч ушел и хлопнул дверью. Авдотья, услышав, как хлопнула за барином дверь, поняла, что дело разыгралось не на шутку, и не без робости вошла в хозяйские покои. Хозяин в волнении сидел на диване, нетерпеливо болтал ногой и, увидав кухарку, заговорил с ожесточением:

– Когда ты будешь слушать, что тебе говорят? а?

– Господи помилуй! Слава богу, и так слышу...

– Нет, я говорю, когда ты будешь слушать?..

Авдотья не нашлась, что отвечать.

– А? – продолжал хозяин. – Я тебе что сегодня утром сказал?..

– Мало чего ты говорил? У тебя нешто мало приказу-то?

– Нет, что я сказал?

– Что сказал, то и сделала... И нечего орать попусту...

– Мол-лчи! Что я сказал?

– Нечего молчать. Говорю, коли спрашиваешь. Сказал: отнести сапог в починку – отнесла... Приказал тарелки перемыть – вон они...

Семен Иванович еще с большим волнением принялся болтать ногою, готовясь гаркнуть пуще прежнего.

– Мало ли, – бормотала испуганная Авдотья... – Вон, сказал, огурцы пере...

– Чт-то я сказал?! – не удержался Семен Иванович и вскочил с дивана.

Вышедшая из терпения Авдотья плюнула и скрылась, хлопнув дверью...

– Вон! долой с места! – кричал Семен Иванович, но Авдотья не слыхала его.

Хозяин был в волнении. Шагая по комнате и ероша волосы, он ждал, что Авдотья явится и попросит извинения. Но она не являлась. Хозяин каждую минуту порывался в кух-

ню для того, чтобы объяснить строптивой рабыне ее вину, но долгое время не решался этого сделать. Авдотья между тем, очутившись в кухне, сразу чего-то оробела и упорно задумалась над тем, что такое сказывал ей хозяин? Перемыывая дрожащими руками тарелки, она долгое время перебирала в памяти хозяйские приказания, но ничего заслуживающего гнева не находила и убивалась пуще прежнего. Из комнаты доносились сердитые шаги барина. Время тянулось мучительно долго. Наконец шаги послышались в сенях, и барин вошел в кухню. Авдотья старалась не смотреть ему в глаза.

– Гляди! – грозно произнес барин.

Кухарка подняла голову: перед ней стоял разозленный хозяин и держал почти у потолка кошку, схватив ее за спину.

– Вот я что сказал! – говорил гневно барин. – Я сказал, – продолжал он, потрясая кошкой над головой кухарки, – я сказал: запирай кошку на ночь... Куда?

Кухарка трепетала.

– В чулан! – крикнул хозяин, и в то же мгновение на голову кухарки упала с отчаянным визгом кошка, а с потолка посыпался сор, так как хозяин ушел, сильно хлопнув дверью.

– Ах ты подлая! – с сердцем заключила кухарка, ногою отбросив кошку в угол...

XI. Семен Иванович в хорошем расположении духа

Иногда, впрочем, судьба посылала пищу его голодной душе в формах более или менее скромных, не столь бушующих. В эти минуты угрюмое лицо Семена Ивановича освещалось весьма добродушной улыбкой и герой мой являлся в новом свете. Вот он высунулся в окно и со вздохом поглядывает по сторонам.

У ворот, в двух шагах от него, сидит хозяйская кухарка Прасковья в новом «каленном» коленкоровом сарафане и в цветной косынке на черных, как смоль, волосах и холодно посматривает своими большими карими глазами на двух молодцов, красующихся у ворот постоянного двора. Молодцы эти – кучера каких-то приезжих господ; они расфранчены, как только возможно: плисовые поддевки, красные рубахи, сапоги с красной сафьянной оторочкой; на голове шляпы с павлиньими перьями.

Молодцы эти лукаво посматривают на Прасковью и, чтобы заслужить в ее мнении, стараются блеснуть чем-нибудь; они покрикивают на ямщиков соседнего постоянного двора, запрещают им курить папиросы, а сами ни за что не соглашаются погасить своих трубок. Ничто, однако, не привлекало к ним внимания Прасковьи. Семен Иванович, наблюдав-

ший из окна над ухарством кучеров, попробовал сам попытаться счастья и не без робости произнес:

– Прасковья! а Прасковья!

Кухарка оглянулась.

– Здорово!

– Здравствуй!

Семен Иванович радовался, что так благополучно началось.

– Что же, Прасковья, муж-то у тебя дома?

– На войне!

– А-а... Его, поди, уж убили?

– Когда бы господь дал!

– Вот как?.. Ты, Прасковья, если хочешь, я узнаю: жив он или нет.

– О?

– Ей-богу... у меня заведены этакие книги... что угодно...

Ты вот что – ты зайди ко мне в комнату, на минуточку...

– Чего еще?

– Ей-богу... Ты чего боишься? Слава богу, я не какой-нибудь! Мы бы с тобою вместе поглядели в книге-то... а? Прасковья?..

– Где такая книга?

Семен Иванович показал ей в окно какую-то книгу.

– Видишь? Тут все: кто убит, кто ранен... все... Прасковья?..

– Ну-кося погляди: Иван из Яковлевского...

– Да ты иди сюда...

– Эва!

– Вот захотела – на улице разговаривать... Ты иди сюда!

Кухарка подозрительно посмотрела кругом и потом нерешительно произнесла:

– Ну, гляди: обманешь, не жить тебе...

– Иди! Иди!

Кухарка медленно поднялась с сиденья и пошла. Каким победным и сияющим взглядом посмотрел Семен Иванович на соседских кучеров.

ХII. Семен Иванович знакомится с семейством Претерпеевых

Семейство Претерпеевых обратило на себя внимание Семена Ивановича по тем же причинам, по каким слова кухарки, величавшей его помещиком и богатырем, доставляли ему высокое наслаждение. Встретив их в церкви, он заметил, что его пристальные взгляды на них производят надлежащее действие одна из дочерей Авдотьи Карповны тоже начинает поглядывать на него; затем между дочерью и матерью происходит какое-то шептанье, после которого они обе вместе взглядывают на Семена Ивановича... Все это говорило герою моему, что говорят о нем. Скоро Семен Иванович мог убедиться, что об нем не только думают, но даже боятся: после посылки воза капусты Претерпеевы не могли глядеть на благодетеля иначе, как с благоговением. Дальнейшие посылки сахару, чаю и проч. окончательно убедили его в безграничной преданности Претерпеевых: после того, как был сделан последний подарок в форме телячьей ноги и когда Авдотья известила благодетеля о том восторге, который произошел, когда узнали имя неизвестного благотворителя, Семен Иванович впал в какое-то сладостное забытье: сама Олимпиада Артамоновна, известная в растеряевской Палестине за девицу высокопросвещенную и гордую, и та, по сло-

вам Авдотьи, пылала к нему беспредельным благоговением. Чего же еще?

Семен Иванович был истинно счастлив. В один вечер прилив доброты и снисходительности к человечеству в нем был так велик, что все живые существа того дома, где жил он, были изумлены не на шутку: Семен Иваныч отпускал каламбуры, шутил, вместо двух кусков сахара отпустил Авдотье целую горсть, без счета. В довершение восторга Семена Иваныча церемонная Прасковья решилась наконец выпить у него чаю, после которого и хозяин и гостя уселись играть в карты. В комнате громко раздавались слова: «ходи!», «сдавай!», «держись, иду пятеркой».

– Нет, когда ты меня полюбишь? – говорил Семен Иванович, с треском выкладывая перед Прасковьей козырную тройку; Прасковья крыла тройку и, в свою очередь, выкладывала перед хозяином «хлюст», прибавляя:

– А этого?

– Нет, когда ты меня полюбишь? – продолжал хозяин, торопливо «принимая» карты.

Эта приятная минута, сулившая, судя по развеселившемуся лицу бабы, полное упрочение дружбы, была прервана совершенно неожиданно: на пороге комнаты появилась фигура Хрипушина.

– А, друг-приятель! – радостно воскликнул Семен Иваныч.

Но Хрипушин, не отвечая на приветствие, остановился в

дверях, развел руками и, поглядывая то на хозяина, то на гостью, заговорил:

– Не похвалю! Каково, Семен-то Иваныч? а?.. Не ожидал!.. ай-ай-ай!..

Семен Иваныч смеялся.

– Да какую еще приятную компаньонку себе раздобыл!.. ах ты боже мой... Не ожидал!.. Где такую бабочку, Семен Иваныч?..

Прасковья тотчас же исчезла из комнаты, шаркая по полу босыми ногами. Хрипушин засмеялся ей вслед.

– Ну, садись!

– Ох, да уж, видно, придется у вас, Семен Иваныч, отдохнуть...

Хрипушин сел напротив хозяина и, отирая мокрые от дождя усы, лукаво посматривал на него.

– Ты чего тарацишься-то? – спросил игриво хозяин.

– Будто не знаете?.. Про этих-то? про томилинских-то? ничего слухов нет?..

Хрипушин кивнул головой в сторону и подмигнул.

– Про каких? – словно ничего не понимая, переспросил Толоконников. – Про кого?.. Какие?..

– А воз капусты-то?.. «Неизвестно кто»?..

– О-о-о! вон куда!.. Будет тебе! Водочки не хочешь ли?

– Нет-с, позвольте! водочки само собой, а это дело своим чередом!.. Еще не все-с!

– Будет, будет! Оставь! Эко разговор нашел!

– Нет-с, позвольте! Приказано благодарить-с, то есть вот как: от души! Даже и слов нет!

Хозяин как бы нехотя попробовал было еще раз остановить гостя, но тот не слушал его и продолжал:

– Такого, говорят, благодетеля от роду рождения нашего не видывали! И дай ему, господи, на много лет, чтобы, то есть, в лучшем виде... Ей-ей... Это, Семен Иваныч, зачтется, поверьте!.. А вь! что думаете? Да вы сыщите теперь на всем белом свете одного человека, чтобы он, к примеру, по вашему поступил? Нет-с, бог видит!

Долго говорил Хрипушин в том же хвалительном роде.

Хозяин таял от слов его и совсем было забыл о водке, если бы гость, у которого наконец пересохло горло от длинных монологов, сам не свернул разговор на этот предмет. После выпивки беседа пошла ровнее; Хрипушин доказывал хозяйину преимущество брачной жизни, на что тот возражал:

– Жениться! Жениться можно, да что проку-то!.. Поди-ка женись, завоешь!

Хрипушин опровергал это мнение и затевал новый разговор: принимался восхвалять Олимпиаду Артамоновну, негодуя против слухов, разгуливающих о ней по «растеряевщине», и доказывал, что при своем высоком образовании девица эта могла бы быть примерною супругой. Семен Иваныч опять возражал на это, что «жениться можно, да что проку-то? подика женись». Вообще разговоры Хрипушина по части законного брака оказались бесплодными; Хрипушин

понял, что нельзя слишком сильно налегать на хозяина с такими предложениями и решился действовать исподволь. С этой целью он пригласил Толоконникова, именем Авдотьи Карповны, на пирог в воскресенье, на что Семен Иванович сказал: «подумаю».

В самом деле, намерения Семена Ивановича были далеки от законного брака. В Претерпеевых он чуял таких людей, которые будут поклоняться ему и носить его на руках и «так», без женитьбы, единственно ради его к ним внимания и кой-каких съестных подачек. Все это подтверждается и дальнейшим ходом событий, которые следовали в таком порядке: благодаря содействию Хрипушина Толоконников присутствовал на пироге у Авдотьи Карповны; Иван Алексеич выручал в этот день всех, ел он за семерых и не забывал при этом потешать публику разными анекдотами. Претерпеевы, пристально смотревшие на Семена Иваныча, не нашли в нем ничего необыкновенного, но, вместе с тем, решительно не могли объяснить себе его угрюмости и молчаливости, которая, нужно заметить, охватывала моего героя всякий раз, как только он попадал в незнакомое общество.

После этого пиршества Претерпеевы и благодетель не видались в течение недели. Бедная напуганная Авдотья Карповна полагала, что бесценный Семен Иванович забыл их, обидевшись тем, что за все благодеяния его поблагодарили неудавшимся пирогом с его же капустой. Но подозрения эти оказались ложными. В следующее воскресенье, часу в ше-

стом вечера, когда Олимпиада Артамоновна в задумчивости сидела у окна, на тротуаре показалась фигура Толоконникова. Семен Иванович был в новом сюртуке, который старался спрятать под своим рваным пальто. Увидев благодетеля, Олимпиада Артамоновна издала пронзительный крик, и тотчас же вся семья Претерпеевых столпилась у окна и раскланивалась с Семеном Ивановичем.

– Доброго здоровья! – говорил Толоконников, неуклюже приподнимая свой картуз.

– Здравствуйте, Семен Иваныч, заходите!

– Что ж заходить-то... как поживаете?..

– Как мы поживаем? Известно как!..

– Семен Иваныч! нынче фейерверк в саду! – совершенно неожиданно и необыкновенно быстро проговорила одна из претерпеевских барышень.

– А господь с ним!..

– И правду!

Всем желательно было пойти в сад и посмотреть фейерверк, но в то же время все почему-то «боялись» посторонней публики.

– Эка невидаль! – продолжал Семен Иваныч. – Да опять и отсюда увидим, ежели на то пошло, место высокое, гора, далеко видно...

Все немедленно согласилось с этим.

– А в случае ежели пройтись угодно, так и это можно... Мало ли где? И без толкотни.

Претерпеевские барышни тотчас же оделись и вышли. Семен Иваныч повел их на кладбище; здесь уже в самом деле не было ни единой живой души, только какие-то бабы, заливаясь слезами, хоронили ребенка. Семен Иваныч направился с дамами прямо к этой могиле и, сняв шапку, достоял погребение. Затем прогулка продолжалась в грустном молчании; все были неприятно настроены похоронами. Семен Иваныч вздыхал, говорил о смерти, о загробной жизни.

– Семен Иваныч! вон ракету пустили!

– Ну что же, господь с ней! О-ох, господи боже мой, подумаешь о смерти-то иной раз...

Все вздыхали; вдали, за кладбищенским валом, семинаристы играли в лапту; по шоссе мчались почтовые, весело заливаясь колокольчиками; издали доносились звуки музыки, и из облака пыли, затопившей город, по временам вылетали ракеты.

– Семен Иваныч! вон еще!..

– Господь с ней! – повторил Семен Иваныч.

А Авдотья Карповна прибавила:

– А вот и Артамона Ильича могилка!..

Это известие уничтожило всякую возможность получить хоть какое-нибудь удовольствие от прогулки. Всеми овладели уныние и скорбь. Претерпеевы воротились домой с растерзанными сердцами.

Такие посещения Семен Иваныч начал делать все чаще и чаще. Иногда он приносил какое-нибудь угощение: фунт

каленных орехов, десяток яблок. Наконец уважение, выказываемое ему Претерпеевыми, до такой степени разлакомило его, что он уже не мог пробыть минуты, не испытывая приятности этого уважения и раболепства. Семен Иванович решил нанять квартиру у Претерпеевых и таким образом покинуть Растеряеву улицу для Томилинской. Ради этого он тотчас же поругался с хозяином, так как переменить квартиру, не поругавшись с хозяином, казалось ему делом невозможным, и принялся перевозить вещи.

В один день вслед за возами, въезжавшими на двор Претерпеевых, шел Хрипушин; он осторожно держал одной рукой маятник, в другой придерживал полы своей шинели, по причине непроходимой грязи, и прожевывал какую-то закуску, которая сильно раздула ему щеку.

Вечером, когда в новой квартире Толоконникова было все прибрано и хозяин с удовольствием поглядывал на свое добро, Хрипушин сладким голосом проговорил:

– Вот бы, Семен Иванович, жениться вам? Ей-богу!

Но Семен Иванович отделался своей обычной фразой, сложившейся в его голове по поводу этого предмета. Таким образом, Толоконников, или «благодетель», поселился в самом центре покоренной его благодеяниями области и продолжал доканчивать это покорение, чего требовало его жадное самолюбие.

Сначала, с непривычки на новом месте, Семен Иванович поступал с хозяевами чрезвычайно предупредительно и веж-

ЛИВО.

– Не нужно ли вам, Авдотья Карповна, сахару?

– Нет, нет, и так много! Покорнейше благодарим!

– Отчего же? Берите, когда есть... Да вам шкатулки не надо ли?

– Что это вы, Семен Иванович! Ей-богу, вы нас совсем конфузите... Мы и слов не найдем благодарить вас.

– Эва что! – добродушно заключал Семен Иванович, и шкатулка оставалась у Претерпеевых. Точно таким ласковым манером были снабжены Претерпеевы всем необходимым в хозяйстве; в их комнатах появились разные вещи Семена Ивановича: столы, стулья, диваны. Толоконников был ужасно рад, не сомневаясь, что власть его возрастает; но Претерпеевых задавили эти благодеяния.

Все эти шкатулки, самовары и прочие вещи, принадлежащие благодетелю, были чем-то вроде казенных печатей, наложенных в обеспечение чьего-либо прикосновения; Семен Иваныч своими благодеяниями наложил точно такие же казенные печати на свободную волю благодетельствуемых им лиц. Благодеяния до такой степени стеснили бедную семью, что недавняя нищета иногда показывалась ей едва ли не лучшим временем против теперешнего. Наравне с самоварами, сундуками и прочими символами величия Семена Ивановича не менее одуряющим образом действовало на Претерпеевых и самое реальное величие благодетеля. Слушая, с каким трепетом произносится его имя, как дрожит вся семья Ав-

дотьи Карповны, если кухарка разобьет тарелку, принадлежащую благодетелю, или одна из дочерей закапает чаем ска-терть, Семен Иванович не чуял под собой земли.

Ни к Претерпеевым, ни к Толоконникову никогда никто не показывался, и Семен Иванович поэтому мог благодуще-ствовать, как ему было угодно: порабощенная им семья с глубокою робостью внимала каждому его слову и суждению, которые только впервые начали шевелиться в голове Толо-конникова и были иной раз поистине изумительны. Каждое мнение его, как бы оно ни было уродливо, принималось без-апелляционно, и поощренный этим Семен Иванович, неза-метно для самого себя, начал понемногу предъявлять новые и новые требования.

Избалованная общим раболепством натура его уже требо-вала разнообразия. Семен Иванович, являвшийся прежде к хозяевам не иначе как в сюртуке или в шинели, надетой в рукава, начал являться в халате, очевидно, уже не страшась отвращения Олимпиады Артамоновны, или приносил деви-цам какую-нибудь принадлежность своего туалета и просил пришить пуговицу также без всякой церемонии.

Посягательства Семена Иваныча в таком роде продолжа-ли усиливаться все более и более, так что в один день в се-мействе Претерпеевых происходила следующая сцена.

Семен Иваныч, уже разъяренный и надувшийся, стоял против трепещущей семьи Авдотьи Карповны и грозно во-прошал у нее:

– Что я сказал? Я что вчера сказал?

– Семен Иваныч!

– Что я говорил? Договорюся или нет? а?

Семья дрожала и безмолвствовала. Семен Иваныч с сердцем хлопнул дверью и скрылся.

– Что теперь делать? – захлебываясь от ужаса, шептала Авдотья Карповна. – Господи! Чай, обедать не пойдет? Что наделали? Что такое это он говорил?

– Мы почему знаем? Мало ли что он говорил! – отвечали испуганные дочери.

– Ах, господи! наказал господь!..

Стол был давно накрыт, но Семен Иваныч не являлся. Авдотья Карповна, еле таскавшая ноги от страха, поплелась разыскивать его. Она нашла его в саду; Семен Иваныч лежал в беседке, повернувшись лицом к стене.

– Семен Иваныч, кушать подано! Что вы, благодетель наш, сердитесь? Вы скажите, что вам угодно, мы вам в одну минуту сделаем... А то как же так, не сказавши ничего?

Семен Иваныч молчал.

– Благодетель наш! – повторила Авдотья Карповна.

Но ответа не было. Авдотья Карповна, убитая, воротилась в комнату и не знала, что делать. Наконец ей пришло в голову отправить депутатом самую младшую дочь Стешу, на которую Семен Иваныч обращал особенное внимание и иногда порывался даже обнять ее. За Стешей, не имевшей в этом походе никакого успеха и не дождавшейся от благодетеля ни

слова, отправилась Олимпиада Артамоновна, за ней Саша, за Сашей Варя, потом сама Авдотья Карповна. Все они робко подступали к лежавшему Семену Ивановичу, робко просили пожаловать кушать и, ответом на эти приглашения, имели несчастье видеть ту же неподвижную спину благодетеля.

После тщетных стараний Претерпеевы решились обедать одни; аппетит оставил их, кусок останавливался в горле, и обед прошел среди молчания и тяжких вздохов. Кухарка убрала наконец посуду и собиралась отдохнуть на печи, как неожиданно в комнату вошел Семен Иваныч и в грозной позе остановился перед Авдотьей Карповной.

– Это что же такое? – сказал он, – за мои хлопоты да я же голодный хожу?

– Семен Иваныч, да ведь вас звали!

– Все натрескались, а мне куска хлеба нету?

– Да, батюшка! благодетель наш!.. – начала было со слезами Авдотья Карповна, но благодетель вторично хлопнул дверью и вторично исчез.

Через пять минут в беседке опять новая происходила сцена:

Семен Иваныч по-прежнему лежал лицом к забору. За его спиной вся семья Претерпеевых суежилась около стола, таская тарелки, миски с разными кушаньями и проч. Когда все было готово, Авдотья Карповна сказала:

– Семен Иваныч, подано-с! кушайте, отец наш, а то щи простынут.

Семен Иваныч нехотя повернул к публике голову.

– Это что же такое? – угрюмо и как бы не понимая, в чем дело, проговорил он.

– Обедать-с...

– Это в шестом часу-то?

– Да что ж делать, когда вы не изволили кушать?

– Да какой же черт обедает ночью? Люди от вечерен пришли и чаю напились, а у нас обед?

– Семен Иваныч!

– Тьфу!

Благодетель быстро повернулся опять к стене и замолк.

Долго семья Авдотьи Карповны и сама она ждала какого-нибудь слова от него. Семен Иваныч молчал и, казалось, заснул.

Тогда решено было перенести кушанья назад, в комнату, так как, стоя на открытом воздухе, они могут быть растасканы птицами или съедены собаками. Едва только это было исполнено, как Семен Иваныч снова появился в кухне.

– Где тут, – грустно и кротко, точно агнец, сказал он кухарке, – где тут у вас корки собакам валяются?

– Господи помилуй! Семен Иваныч! батюшка! Что это! Корки! Как можно!

– И корки-то мне нету?..

– Господи!

Семен Иваныч ушел, не дождавшись объяснения. Через минуту он стоял у низенького забора и разговаривал с сосе-

дом-сапожником.

– А? – говорил он. – До чего я дожил! Корки не дают хлеба! а?

– Цс-с-с! Боже мой!

– А? За мою хлеб-соль да я же не имею пропитания? Это что же будет?

– Семен Иваныч, отец наш! – рыдала из окна Авдотья Карповна. – Что ты, господь с тобой!

– А? – продолжал Семен Иваныч, обращаясь к сапожнику. – Вот как, друг! Поишь, кормишь, а вместо того с голоду околевай!.. а? Верно, только у бога правду-то найдешь!..

– Это точно! только у одного бога!..

– Д-да! Но авось и добрые люди не оставят... Дай хоть ты мне корочку какую... Чай, собакам тоже кидаешь? так мне этакую... Собачью!

– Зачем же-с! мы, Семен Иваныч, с удовольствием.

– Нет, собачью!..

– Что вы! Да мы сколько угодно!

– Нет, дай собачью!..

Только ночью, когда лица всей семьи распухли от слез, Семен Иваныч решился войти в свою комнату; в глухую полночь, когда все заснули, он сам отправился в кухню, вытащил из печи горшок со щами и с жадностью пожирал их среди глубокой тьмы и безмолвия.

Такие штуки благодетель начал разыгрывать все чаще и чаще. Не чувствуя в семье Претерпеевых никакой к себе

нравственной, сердечной привязанности и зная, что им, в сущности, не за что чувствовать ее, он, как истинный деспот, находил утешение в безграничном пользовании своими правами над людьми, которые подвержены ему волей-неволей. Изобретательность его в деспотическом желании довести семью до непрестанного к нему внимания и страха пред ним доходила до высокой виртуозности; вариации, которые он выделял из преданности Претерпеевых, были поистине изумительны. Упитанный по горло всяким почтением и уважением, Семен Иваныч совершенно переродился; он сделался веселей и смелей; никакие насмешки сослуживцев не могли поколебать спокойствия его духа. Раз, когда один из чиновников вздумал было над ним подшутить, Семен Иваныч, не говоря ни слова, хлопнул шутника по голове связкой бумаг и прошел мимо.

Но вместе с возвышением величия Семена Иваныча упала все более и более нравственная свобода Претерпеевых; все они оглупели, обезумели и превратились в каких-то автоматов, с тою разницей, что у них были сердца, поставленные в необходимость ежеминутно замирать и трепетать.

Однако, при всем их одеревенении, дальнейшие деяния благодетеля были такого свойства, что Авдотья Карповна не выдержала и наконец решилась произнести:

– Да лучше мы милостыню пойдем собирать, чем это такое мученье!

– Да ей-богу! – вторили дочери.

– Авось найдутся добрые люди, не оставят!

Всеми было решено не поддаваться больше фантастическим желаниям Семена Ивановича. Олимпиада Артамонова первая решила привести это намерение в исполнение и обещалась завтра же пригласить в гости чиновника Сладкоумова, который уже давно засматривался на нее и выражал желание познакомиться с ее маменькой, Авдотьей Карповной, но боялся попасться на глаза Семену Ивановичу.

«Что же, в самом деле? – думала Олимпиада Артамонова. – Докуда это будет?»

Однажды Семен Иваныч, довольный и счастливый, лежал в своей комнате, – дело происходило после обеда. Он совершенно не подозревал, что против него строятся козни, и потому можно представить ужас, который овладел им в тот момент, когда через отворенную в сени дверь он увидел фигурку юного писца Сладкоумова. Писец Сладкоумов был в белых, туго натянутых панталонах, в новом форменном вицмундире, красных вязаных перчатках, а волосы его были густо напомажены. Дерзкий гость, не замечая Толоконникова, осведомился у кухарки – «дома ли Авдотья Карповна?» и вошел в комнату.

Семен Иваныч был вне себя. Он узнал, что благодетельствуемая им семья знает людей кроме него и думает не исключительно о нем. Через секунду он узнал еще, что Претерпеевы не только думают о посторонних людях, но имеют дерзость и уважать их, ибо тотчас после того, как Сладко-

умов вошел в комнату, из дверей выскочила Олимпиада Артамоновна и торопливо сказала кухарке:

– Марьюшка! голубушка! ради бога, самовар! поскорее, голубушка!

Олимпиада Артамоновна говорила эти слова с тем же трепетом в голосе, какой привык слышать Семен Иваныч только для себя одного. Благодетель не выдержал и закричал:

– Марья!

Явилась кухарка.

– Принеси самовар сюда!

– Там гость пришел.

– Принеси, говорю. Самовар мой!.. Пошла!

Кухарка принесла самовар. Семен Иваныч, пожираемый злобой, думал: «Ну-ко, пусть узнают, как без меня-то?»

К несчастью моего героя, через несколько минут в его комнату отворилась дверь, и кухарка, показав ему какой-то другой самовар, с сердцем крикнула ему:

– И без тебя обошлись!

– Вон отсюда!

– Цалуйся с своим самоваром... Вон соседи дали! Скареда!

– Вон, говорю, бестия!..

– У-у! барин!..

Благодетель выскочил на двор, вызвал соседа-сапожника – и началось бушеванье.

– Грабители! – кричал Семен Иваныч. – За мою хлеб-

соль!.. Анафемы!

Сапожник был в недоумении.

Авдотья Карповна, разливая чай и слушая крики на дворе, была ни жива ни мертва. Чиновник Сладкоумов тоже дрожал, как в лихорадке.

Дверь отворилась, и вошел сосед-сапожник с ремешком на голове и уже сильно под хмельком. Семен Иваныч угостил его.

– Сахарницу пожалуйста! – грубо заговорил он.

– Возьми, возьми, батюшка! Подавитесь с вашим сахаром! – выходя из себя, закричала Авдотья Карповна.

– Нечего нам давиться... Мы берем свое! Это все наше!.. Давиться! Обирать человека ваше дело, а за все благодеяния только безобразничаете? Пожалуйста нашу небиль! Это все наше! Так-то! Семен Иваныч переезжают...

– Берите! Берите всё! – кричала Авдотья Карповна. – Когда нас господь избавит от вас! Господи!!

Вся семья Авдотьи Карповны рыдала. Писец Сладкоумов улизнул вон из комнаты и, пробегая по двору, споткнулся о камень, пущенный ему под ноги Семеном Иванычем.

В этот день Семен Иваныч убедился, что могущество его рушилось. Он снова помирился с хозяином старой квартиры; но прежде, нежели переехать, пробовал отомстить Претерпеевым за нарушение покоя его души. Каких-каких ни выдумывал он штук. Объявив Авдотье Карповне: «съезжаю с квартиры!», он думал заставить ее снова повергнуться к

стопам его; но, к ужасу благодетеля, Авдотья Карповна отвечала: «хоть сейчас!»

Тогда Семен Иванович сказал:

– Нет, погоди! Мне еще семь дней сроку, по закону! Нет, врешь!

– У нас жилец есть на ваше место, Сладкоумов! – говорили ему.

– А! жилец! нет, погоди!

И Семен Иванович продолжал сидеть на старой квартире, отобрав у Претерпеевых свою посуду, провизию, дрова, словом – оставив их в руках самой отчаянной нищеты.

– Семен Иванович! батюшка! – умоляли его. – Нам есть нечего! Переехал бы Сладкоумов, все бы как-нибудь, хоть рублишко какой дал...

– Нет, еще погоди! Мне и сверх срока пять дней льготы!

Благодетель переехал только тогда, когда узнал, что Сладкоумов женился на мещанке, следовательно, жить у Претерпеевых не будет, а другого жилья еще и в помине нет.

Семья Авдотьи Карловны снова заголодала. Снова горькая вдова принялась собирать сухие купеческие пироги и проливать слезы на подъездах палат и канцелярий.

И вот Семен Иванович по-прежнему на старой квартире, по-прежнему в Растеряевой улице; у него те же хозяева, та же старуха Авдотья и вообще все, как и прежде. Вечер. Комната освещена ярким сиянием лампад. Тишина. Семен Иванович и Хрипушин сидят на противоположных концах комна-

ты, и среди молчания, долгое время не нарушаемого, раздаются вздохи то хозяина, то гостя.

– Вот бы вам, Семен Иванович, жениться теперь: самый раз! – робко говорит Хрипушин; но Семен Иванович отвечает на это глубоким вздохом.

Опять настает молчание...

– Ну-с, Семен Иванович, – поднимаясь и вздыхая, говорит медик, – пора!

– Куда же ты? – жалобно произносит хозяин.

– Нет-с, пора!

Семен Иванович остается один; тоска гнетет его; он вздыхает все глубже и глубже, и наконец мертвая тишина комнаты нарушается заунывным пением. «Ду-ушу мою!...», закрыв глаза и захлебываясь от тяжести наплывающих ощущений, тянет Семен Иванович. «У-ус-лы-ыши, господи, молитву-у мою...»

В комнате по-прежнему пахнет деревянным маслом. Ветер бьет ставней. Неисходная тоска!..

Хрипушин шел по темным и пустынным переулкам. Был октябрь в конце; в одно время падал снег и дождь, вследствие чего топь на улицах стояла непроходимая. К ужасам грязи присоединялся порывистый ветер, поминутно сметавший с крыш талую воду и обдававший ею Хрипушина с головы до ног.

– Господи! – стонал Хрипушин с растерзанным сердцем и вязнул в грязи.

ХІІІ. Семен Иванович

«У пристани»

Мало-помалу Иван Алексеевич стал реже показываться в «растеряевской округе» и, по-видимому, переселился в местности более отдаленные и глухие, глубоко сожалея о своих растеряевских и томилинских пациентах, нечаянные встречи с которыми почитал за истинное счастье.

А встречи эти иногда бывали.

Так, он шел однажды по большой городской улице; дело происходило в субботу, и по тротуарам валил народ: шли ко всенощной, в баню, из бани; мастеровые спешили за расчетом, несли самовары, ружья и револьверы.

– Иван Алексеев! – окликнул кто-то Хрипушина.

Хрипушин обернулся и увидел Семена Иваныча Толоконникова: он возвращался из бани.

– Какими судьбами? – воскликнули оба друга разом, пылливо оглядывая один другого.

– Ах, батюшка, Семен Иваныч! а? Сколько лет не видались-то? Какая перемена!

– Переменишься, брат!

– Ей-бо-огу! Ну, как же господь милует вас?..

– Ничего, помаленьку. Ты-то как?

– Что мы! Наше дело тьфу! Вы как поживаете?

– Слава богу. Слышал али нет?

– Что такое?

– Женился!

– Семен Иваныч?

– Я!

Хрипушин отскочил в сторону, вытаращив глаза.

– Вы? женились?

– Я, я! Чего ты ощетинился-то?.. Пойдем-ко! Какая же на-то!

Хрипушин долго не мог опомниться. Семен Иваныч, идя рядом с медиком, рассказывал ему историю женитьбы и жены.

Она была дочь одного однодворца, оставившего после смерти сорок десятин земли в приданое двум дочерям; одной из них было в то время двадцать четыре года, другой – шестнадцать; первая была крайне безобразна лицом и только пугала женихов, вследствие чего заслужила ненависть матери. Умирая, отец начертал в духовном завещании, в видах обеспечения старшей дочери, следующее: «Младшая может выйти только тогда, когда выйдет старшая, в противном случае она лишается двадцати десятин земли, а старшей достаются все сорок». Отец думал, что подобным маневром он не заставит старшую дочь сидеть в девках, потому что если она оттолкнет жениха физиономией, то притянет его землей. Младшая же может выйти и по любви: она молода и недурна. Но этот маневр на деле осуществился иначе: старшая дочь

была до того безобразна, что никакие сорок десятин не могли победить отвращения женихов; младшую же не брали, боясь остаться совсем без земли, что не было особенно привлекательно. Из всего этого вышло то, что, кроме отвращения и злобы матери, на Марью (старшую дочь) обрушилось отвращение и злоба молоденькой сестры. Старой девой помыкали, как тряпкой; ей не было покою ни днем ни ночью от упреков матери и сестры. Чтобы хоть как-нибудь победить отвращение и презрение родных, Марья работала за семерых: мыла полы, стирала белье, ставила самовары, доила коров и проч. Но и это не спасало ее от семейного презрения. В таком виде предстала она глазам Семена Иваныча.

Когда Толоконников, рассказывая историю женитьбы, дошел до изображения достоинств жены, то остановился на тротуаре и громко воскликнул над самым ухом Хрипушина:

– Так настращена, так настращена, боже защити!

Медик робко поглядел на Семена Иваныча и увидел, что ответить надо так:

– Что ж? Слава богу!..

– То есть вот как: ни-ни-ни!

– Слава богу! – повторил Хрипушин. – Ей-ей!

Затем, в доказательство «настращенности» жены, Семен Иваныч рассказал, что во все время его сватовства теперешняя жена его целовала у него руки.

– Позвольте попросить у вас воды, скажешь иной раз ей, – рассказывал Толоконников. – Тую же минуту несет воду и

чмок в руку!.. Каково?

– Чудесно! – бормотал Хрипушин.

Скоро они пришли к воротам квартиры Семена Иваныча – Иван Алексеев! – сказал он шепотом, держась за кольцо калитки, – ты погляди-ко вот, что я тебе говорил... как напугана-то!..

– С великим удовольствием!

Едва только шаги Семена Иваныча раздались в передней, как из соседней комнаты выскочила испуганная женщина со свечкой в руке.

– Вот жена! – сказал Толоконников.

Хрипушин засвидетельствовал почтение.

Жена Толоконникова была существо истинно жалкое; вся физиономия ее носила следы какого-то нечеловеческого утомления и ужаса, который громадностью своих размеров не давал возможности обратить внимания на ее безобразие.

Человек, впервые попавший в Томилинскую улицу, словом – человек свежий, при взгляде на эту женщину неминуемо должен был чувствовать боль в сердце и глубокую грусть, но томилинец, и на этот раз Семен Иваныч, засиял, как солнце, когда увидел, что Хрипушин разделяет его мысли. С каким-то удовольствием подставил он жене спину, для того чтобы она сняла шинель, и из снисходительности не допустил ее снять с себя калоши, к которым она было уже бросилась.

– Самовар! – кротко и нежно пропел притворяющийся

зверь, входя в комнату.

Жена мгновенно исчезла в кухню.

– Видел? – шепнул хозяин гостю.

– То есть вот как: лучше не надо!

– А?

– Золото! Как есть золото!

– Что еще будет! Ты погляди-ко!

Самовар явился мгновенно. Жена Семена Иваныча с тем же испугом суежилась около чашек и ложек. Муж с удовольствием поглядывал на этот испуг. Наконец он, не торопясь, опустился на диван и, мигнув Хрипушину, произнес:

– Маша-а!

Жена вздрогнула и чуть не выронила чашки.

– А что я тебе сегодня сказал?..

Семен Иваныч подмигивал Хрипушину и указывал головою на жену, которая безумными глазами бегала по стенам, очевидно торопясь что-то вспомнить...

– Я... Семен Иваныч... все...

– Что я сказал?

Знакомая нам сцена тянулась мучительно долго. Наконец, когда зрители увидели, что бедная женщина окончательно выбилась из сил, Семен Иваныч подозвал ее к себе и сурово произнес:

– Гребешок! Я сказал: «Приду из бани, чтобы гребешок!»

Но жены уже не было в комнате, она бросилась за гребешком.

– Видел? – произнес хозяин.

– Сам бог вам посылает! Истинно: слава богу!

Семен Иванович был доволен и тешился забитостью жены до усталости. Все эти сцены были закончены угощением, устроенным хозяином ради того, чтобы показать жену в новом свете, со стороны хозяйственной. Такие маневры Семен Иваныч устраивал перед всеми своими знакомыми, которыми в последнее время обзавелся; знакомые эти были: почтальон, мучной лавочник и дьякон. Все они хвалили Семена Иваныча за его умение обращаться с женой.

Встреча Хрипушина с Толоконниковым доставила медику одну новую пациентку, потому что это была Марья Филипповна – жена Семена Ивановича. Зная, что женский пол в отсутствие мужей гораздо свободнее и предупредительнее, медик являлся к ней по утрам, когда Семен Иваныч бывал на службе. Убеждение в предупредительности женщин не обманывало медика, и он всегда получал от Марьи Филипповны водку. С своей стороны, подобною же предупредительностью платил хозяйке и Хрипушин. Всякий раз, замечая, что при появлении его Марья Филипповна утирает распухшие от слез глаза, медик заботливо спрашивал:

– Али чем больны?

– Нет, Иван Алексеевич, – это так!

– Как же так-то?

– Скучно!

– О чем же скучать изволите?

– Да так... просто... скучно сделалось!..

– Гм-м!..

– С родными не видалась давно... вспомнила, ну, и...

– Так, так... Да вы, Марья Филипповна, вот как: вы позвольте мне хоть двадцать-то пять копеек... Я вам сварю одну примочку!

Хрипушинские примочки не помогали, и слезы не просыхали на глазах Марьи Филипповны: ей было о чем плакать.

Впрочем, Семена Ивановича она не винила в своих слезах: она чувствовала, что обязана ему свободой от презрения родных.

Не могу подробно рассказать, что случилось с Претерпеевыми; достоверно только то, что Олимпиада Артамоновна живет не в Томилинской улице и не в родительском доме; источники ее существования никому не известны, но томилинскя и растеряевская «молва» отзывается о них весьма неодобрительно.

Более о ней мы сказать ничего не можем.

XIV. Разный растеряевский люд

Теперь следовало бы возвратиться к жизни Прохора Порфирыча и рассказать благополучное окончание его карьеры.

Но у нас есть еще два-три лица из растеряевцев, которых хоть и нельзя назвать «главными» действующими в растеряевском житье-бытье лицами, как Прохор Порфирыч и Хрипушин, но нельзя считать и личностями заурядными. Два-три слова сказать о них необходимо.

1. Книга

После смерти вдового шапочника Юраса остался сын, болезненный мальчик лет двенадцати, не узнавший вследствие постоянной хворьбы даже ремесла своего отца. Родственники тотчас же запустили свои руки под подушку покойника, пошарили в сундуках, под войлоком и, найдя «нечто», припасенное Юрасом для неработающего сына, тотчас же получили к этому сыну особенную жалость и ни за что не хотели оставить его «без призора». Кабаныи зубы и пудовые кулаки мещанина Котельникова отвоевали сироту у прочих родственников. Сироту поместили на полатях в кухне, водили в церковь в нанковых больничного покроя халатах и, попивая чаек на деньги покойного Юраса, толковали о заботах и убытках своих, понесенных через этого сироту. Пролежал на полатях сын Юраса года четыре, и вышел из него длинный, сухой шестнадцатилетний парень, задумчивый, тихий, с бледно-голубыми глазами и почти белыми волосами. В течение этих годов лежанья от нечего делать прозубрил он пятикопеечную азбуку со складами, молитвами, изречениями, баснями, и незаметно книга в глазах его приняла вид и смысл совершенно отличный от того вида и смысла, какой привыкли придавать ей растеряевцы. Страсть к чтению сделала то, что сирота решился просить опекуна купить ему какую-нибудь книгу. Опекун сжалился: книга была куплена, и сирота

замер над ней, не имея сил оторваться от обворожительных страниц. Книга была: «Путешествие капитана Кука, учиненное английскими кораблями Революцией и Адвентюром». Алифан (сирота) забыл сон, еду, перечитывая книгу сотни раз: капитан Кук все больше и больше пленял его и наконец сделался постоянным обладателем головы и сердца Алифана. По ночам он в бреду выкрикивал какие-то морские термины, летал с полатей во время кораблекрушения и пугал всю семью опекуна не на живот, а на смерть.

Котельников понял это сумасшествие по-своему.

– Ну, Алифан, – сказал он однажды сироте, – гляди сюда: оставлен ты сиротою, я тебя призрел, можно сказать, из последнего натужился... Шесть годов, господи благослови, мало-мало по сту-то серебра ты мне стоил... Так ли?

– Я, кажется, до веку моего буду ножки, ручки...

– Погоди. Второе дело, старался я, себя не жалел сделать тебе всяческое снисхождение и удовольствие... Через это я тебе, например, вот книгу купил...

– Ах! – вскрикнул Алифан в восторге.

– Погоди... Вот то-то... Ты, может, читавши ее, от радости чумел; а спроси-кось у меня, легко ли она мне досталась, книга-то? Следственно, исхарчился я на тебя до последнего моего издыхания... Но так как имею я от бога доброе сердце, то главнее стараюсь через мои жертвы только бы в царство небесное попасть и о прочем не хлопочу... С тебя же за мои благодеяния не требую я ничего... По силе, по мочи

воздашь ты мне малыми препорциями. Ибо придумал я тебе по твоей хворости особенную должность, дабы имел ты род жизни на пропитание.

Последнюю фразу Котельников похитил из уст какой-то вдовы, слонявшейся по нашей улице и просившей милостыню именно этими словами, похищенными, в свою очередь, из какого-то прошения.

Скоро Алифан вступил в новоизобретенную Котельниковым должность. На тонком ремне был перекинут через его плечо небольшой ящик, в котором находились иголки, нитки, обрезки тесемок, головные шпильки, булавки и прочие мелочи, необходимые для женского пола. Обязанности Алифана заключались в постоянном скитании по улице, из дома в дом, и целый день такой ходьбы давал ему барыш по большей мере пятиалтынный. Этот пятиалтынный приносил он все-таки к Котельникову будто бы на сохранение. «У меня целей», – говорил Котельников.

И Алифан вполне этому верил.

Но книга и капитан Кук не оставляли Алифана и здесь. Замечтавшись о каком-нибудь подвиге своего любимца, он не замечал, как вместо полутора аршин тесемок отмеривал три и пять, или в задумчивости шел бог знает куда, позабыв о своей профессии, и возвращался потом без копейки домой. Если Алифану приходилось зайти в чью-нибудь кухню и вступить в беседу с кучерами и кухарками, то и тут он незаметно сводил разговор на Кука и, заикаясь и бледнея, при-

нимался прославлять подвиги знаменитого капитана. Но кучера и кухарки, наскучив терпеливым выслушиванием непостижимых морских терминов и рассказов про иностранные народы и чудеса, о которых не упоминается даже в сказке о жар-птице, скоро подняли несчастного Алифана на смех. Скоро вся улица прозвала его «Куком», и ребята при каждом появлении его заливались несказанным хохотом; им вторили кучера, натравливая на бедного доморощенного Кука собак. Даже бабы, ровно ни буквы не понимавшие в рассказах Алифана, и те при появлении его кричали:

– Ах ты, батюшки мои, угораздило же его, – Кук! Этакое ли выпер из башки своей полоумной...

– В тину, вишь, заехал... На карапь сел, да в тину... Ха-хаха... – помирали кучера.

– Кук! Кук! Кук! – визжали мальчишки.

Алифан схватывал с земли кирпич и запускаял в мальчишек; смех и гам усиливался, и беззащитный Алифан пускался бежать...

– Ку-ук! Ку-ук! – голосила улица. Общему оранью вторили испуганные собаки.

Торговля Алифана мельчала все более и более. Обыватели чиновные и в особенности обывательницы с улыбкой встречали его и, купив на пяточок шпилек или еще какой-нибудь мелюзги, считали обязанностью позабавиться странной любовью Алифана.

– Ну, как же Кук-то этот? – спрашивали они. – Как ты это

говоришь, Расскажи-ко?

– Да так и есть...

– Как же это? плавал?

– И плавал-с; вот и все тут...

Алифан, желая избежать насмешек, иногда думал было отделаться такими отрывочными ответами; но влюбленное сердце его обыкновенно не выдерживало: еще немного – и Алифан воодушевлялся, чудеса чужой стороны подкрашивались его пылким воображением, и картины незнакомой природы выходили слишком ярко и чудно. Алифан забывал все; он сам плыл на «Адвентюре» по морю, среди фантастических туманов и островов удивительной прелести; воображение его разгоралось, разгоралось... и вдруг неудержимый, неистовый хохот, как обухом, ошарашивал его.

– Батюшки, умру! Умру, умру, спасите! – вопил обыватель.

И Алифан исчезал.

Иногда выслушают его, посмеются в одинаковой мере и над Куком и над рассказчиком, продержат от скуки часа три и скажут:

– Ступай, не надо ничего.

Плохо приходилось ему. Синий нанковый халат, сшитый опекуном еще в первые года опекания, до сих пор не сходил с его плеч, потому что другого не было. Если иногда Алифан принимался раздумывать о своих несчастиях, то по тщательном размышлении находил, что во всем виноват один капи-

тан Кук.

Но было уже поздно!

Таким образом, известнейший мореплаватель Кук, погибший на Сандвичевых островах, вторично погиб в трясилах растеряевского невежества; погиб – раскритикованный в пух и прах нашими кучерами, бабами, мальчишками и даже собаками. А вместе с Куком погиб и добродушный Алифан.

Горестная жизнь его была принята обывателями, во-первых, к сведению, ибо говорилось:

– Вон Алифан читал-читал книжки-то, да теперь эво как шатается... Ровно лунатик!

И, во-вторых, к руководству, ибо говорилось:

– Что у тебя руки чешутся: все за книгу да за книгу? Она ведь тебя не трогает!.. Дохватаешься до беды... вон Алифан читал-читал, а глядишь – и околет как собака...

2. Балканиха

Тьма вопросов, являющихся у растеряевца в минуты «отчуждения», требует такого помощника в уразумении их, какого Растеряева улица не видала еще ни разу с того времени, как вытянулись в кривую линию ее косые заборы и приземистые лачужки с своими голодными обитателями. Поэтому растеряевец с давнего времени привык полагаться на бога, будучи горьким опытом убежден, что спасение его не в руках человеческих. Только что рассказанная история с книгою и факты будничной жизни скажут наивному наблюдателю, полагающему, что в минуты жажды совета и уразумения не худо бы подсунуть растеряевцу нечто общедоступное или даже общезанимательное, – будничный опыт скажет такому наблюдателю, что хлопоты его по этому предмету будут тщетны вполне. Голодный лунатизм Алифана только подкрепит взгляд растеряевца на непонятную вещь, именуемую «книгою», и по-прежнему сомнения его и надежды будут в руках умов мудреных и загадочных, говорящих необыкновенными словами... Такие мудреные умы есть у многих растеряевских баб, одну из которых я тотчас же постараюсь отрекомендовать читателю.

Вероятно, всякому приходилось не раз встречать тип необразованной, но умной бабы, преимущественно вдовы, которая всю жизнь усердно ходит в церковь, пользуется

ся всеобщим почетом, именуется «матушкой», получает за обедней просвиру наравне с генералами и заслуженными людьми. Вот именно все такие качества совмещает в себе Пелагея Петровна Балканова, иначе Балканиха, иначе Дунай-Забалканова. Последний вариант фамилии Пелагея Петровна считала самым правильным, объясняя сложность ее знатностью дворянского рода, от которого будто бы она происходила. К несчастью, документы о ее происхождении были затеряны, и хоть она ни на минуту не покидала надежды отыскать дворянство, тем не менее улица наша смотрела на нее пока как на мещанку, супругу маленького и тощенького мещанина. Но даже и в звании мещанки Балканиха обратила на себя внимание растеряевцев, как женщина умная; этому главным образом способствовали непостижимые, но самые существенные средства, которые употребляла она для укрощения мужа. Холостяком он слыл за вертопраха и сорвиголову; женившись – присмирел, оглупел, словом – сделался тряпкой. Средства, употребляемые Балканихой для его усмирения, мало того что были непостижимы, можно сказать наверное, не имели в себе ничего зверского, что почти невозможно в наших нравах. Пелагея Петровна не крикнула, не топнула, не плюнула супругу в лохань ни разу; в серьезном выражении ее почти мужского лица, в ее строгих, но всегда спокойных глазах, даже, быть может, в этих небольших усах, которыми была наделена она от природы, было что-то такое, что заставляло мужа ее осматриваться, самому придумывать

себе вину и просить извинения. Вследствие такого постоянного замирательного положения муж Балканихи начал питать к ней какую-то тайную ненависть, утешая себя возможностью когда-нибудь отплатить ей теми же мучениями, какие испытывал теперь сам.

Но Балканиха не изменялась, и неотомщенный муж смирялся все более и более. Супруга приучила его подходить к ручке, по воскресеньям поздравлять с праздником, в известных случаях говорить: «виноват, не попомните!» Дело усмирения подвигалось вперед все быстрее и успешнее и окончилось одним весьма трагическим происшествием, о котором рассказывает растеряевская молва. Муж Пелагеи Петровны, привыкший все делать в темном углу, потихоньку, однажды вознамерился отведать на старости лет, стыдно сказать, вареньица! С замиранием сердца пробрался он в чулан, достал и развязал банку, проглотил одну полную вареньем ложку, и только что запустил было ее в другой раз, как неожиданно на пороге показалась серьезная фигура Балканихи...

Супруг вздрогнул, выпустил из рук ложку... и будто бы тут на месте испустил дух!

Пелагея Петровна была так уверена в справедливости своей власти над мужем, что даже в ту минуту, когда увидела труп его и когда, казалось, все земные прегрешения должны бы были забыться, она все-таки, по словам очевидцев, не могла не произнести:

– Вот ежели бы ты как следует пришел бы да попросил у

меня вареньица-то, а не воровски поступил, остался бы ты живживехонек. А то вот, господь-то и покарал!..

На похоронах Пелагея Петровна поплакала в самую меру, отпустив слез и причитаний ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы растеряевские бабы не имели оснований упрекать ее в холодности и бессердечии. Совершив все это по установленному порядку, Пелагея Петровна вступила в новый период жизни – «принялась вдоветь». В ее власти находился небольшой собственный дом с мезонином, огород с несколькими кривыми яблонями, разбросанными там и сям, баня и небольшое количество разного рода добра, которое сумела скопить она. Из приближенных к ней людей остались с нею неразлучны по-прежнему только старая баба Харитониха, исправлявшая все должности от наперсницы до поломойки, и приемыш Кузька, самоварщик, о котором будет в своем месте более обстоятельная речь.

Прежде всего после смерти мужа она отправилась пешком к Троице-Сергию, так как давным-давно обещалась богу сделать этот подвиг и, возвратившись оттуда, вступила на дорогу мирного и благочестивого жития. С этих пор начинается ее власть над нашей улицей. Рассказы про угодников божиих, про чудеса были до такой степени обворожительны в ее устах, что все бабы нашей улицы толпами стекались слушать их и выносили из Балканихиного жилища самые светлые ощущения. Пелагея Петровна не пользовалась, однако, этою минутною славою: при полной возможности шататься с

своими рассказами по дворам и опивать на чаю весь женский пол нашей улицы, она этого не делала; напротив, в самом разгаре первой славы своей, она по-прежнему сидела с шерстяным чулком в руках в своей маленькой каморке и басом пела «Да исправится», подражая напеву «лаврскому». Авторитет свой она устраивала не торопясь. Этому много способствовала Харитониха, которая от нечего делать находила возможность слышать и знать все, что делается у соседей и вообще по всей улице. Балканиха слушала ее без малейших признаков любопытства и только иногда, выслушав рассказ, одевалась и шла на место происшествия, где и давала разные советы. «Вы хоть бы погрели у печки одеяло-то, – говорила, например, она, – а то этак-то и в гроб родильницу отправить недолго». Или: «Матушка! видите вы – человек слаб, а вы ему в самое дыхание ладаном надымили. Разве это возможно!.. Дайте ему очнуться, может, он вовсе и к смерти не принадлежит...» И случалось, что родильница, лежавшая под нагретыми одеялами, вдруг выздоравливала, или что человек, который по случаю загула пролежал дня два недвижимо и которого начинали уже душить ладаном, приготавливая на тот свет, вдруг, после совета Балканихи, приходил в чувство и хриплым голосом произносил:

– Ах бы соленького!

Все это служило Балканихе к добру.

– Дай вам, господи, доброго здоровья, матушка Пелагея Петровна, – говорил воскресший растерявец. – Без вас я,

кажется, давно бы душу отдал, и опохмелиться бы не пришлось!

Так потихоньку слава Балканихи все росла да росла, хотя, казалось, это вовсе не радовало и не волновало ее. Но это только казалось; в существе же дела она очень была довольна и немало гордилась своею властью. Ее ум, ограничивавшийся в прежнее время уходом за супругом и домашними заботами, теперь имел более пищи, развивался и приобретал даже несколько философское направление. Балканиха начала чувствовать в своей голове ум несказанный: ощущение совершенно новое и приятное, тем более, что вся наша улица не испытывала этого ощущения, ибо не имела ни минуты свободной на то, чтобы заглянуть в собственные мозговые сокровищницы. Мудрствования и философствования были необыкновенно приятны для нее, и она часто нарочно устраивала разные философские маневры, чтоб, во-первых, явственнее познать силу своего ума, а во-вторых, более изощриться в философских тонкостях. Такие маневры устраивала она пока только дома, ибо случаи к этому дома представлялись частые.

Один из жильцов ее был городской извозчик Никита, нанимавший у Пелагеи Петровны баню. У Никиты была огромная семья, и Балканиха из жалости брала с него только рубль серебром в месяц, с тем, однако же, условием, что всякую субботу, когда топится баня, Никита должен был выбираться оттуда с семьей и пожитками в сад.

Баня особенно часто топилась зимою, следовательно, Никита знал вполне, что такое холод. В той же мере знал он, что такое и голод, потому что с давних, почти незапамятных времен испытывал неопишемую нищету. Кто из трех врагов, опекавших его, голода, холода и запоя, явился прежде, вообще с чего началось его бездомовничество, – решить было очень мудрено.

Пелагея Петровна, как женщина сердобольная, иногда предпринимала походы в области грешной души Никиты, с целью возвратить его на путь истины. Такие походы совершались преимущественно после обеда, когда мухи и жара не дают никакой возможности заснуть. В такую пору Балканиха обыкновенно завешивала окна платками и среди темной комнаты, с жужжащими у потолка мухами, вела отрывочные разговоры с Харитонихой. Эта верная наперсница всеми мерами старалась придумать какую-нибудь интересную вещь, над которой бы Пелагея Петровна могла поумствовать: она сообщала сплетни, новости, пересуды. Истощался этот материал, Харитониха поднимала вопросы вроде того, что правда ли, будто рыжие в царство небесное не попадут, и нет ли этому какой-нибудь основательной причины? Если же истощался и этот запас, то Балканиха вдруг начинала чувствовать потребность доброго дела и приказывала звать Никиту, предварительно справившись: в рассудке ли он?

– Никита-а! – звала Харитониха.

– Сейча-ас! – отзывался Никита из сарая. – Чего там?

– Пелагея Петровна зовут к себе.

– Но-о! – злобно рычал Никита, стиснув зубы. – Зачесалось! Опять воловодит начнет... Иду!.. Как только это не совестно мучить человека... Скажи: иду!

Скоро действительно Никита входит в комнату Балканихи.

Он делает низкий поклон, шепотом здоровается, отступает шаг назад к двери, обдергивает рубашку и с пугливым недоумением ожидает допроса. Пелагея Петровна начинает издалека; она задает ему вопрос: «куда душа человеческая надлежит понастоящему», полагая про себя, что всякая истинно христианская душа надлежит в рай.

Никита недоумевает.

– Не понимаешь?

– Мал-ленечко, точно что... есть препону!

– Ну, ты подумай.

– Слушаю-с...

– Тогда и скажи. Только хорошенько подумай.

– Да уж будьте покойны... Слава богу!.. Али мы!.. Приму все силы...

Настает мертвое молчание. Никита думает, по временам взглядывая на потолок; откашливается, потихонечку вздыхает и вдруг говорит, направляясь к двери:

– Я, матушка Пелагея Петровна, на минуточку...

– Нет, ты погоди!

– То есть... одну только минуту...

– Нет, нет... постой! Ты сначала скажи, что следует...

– Ив самом деле, – соглашается Никита, – лучше же я те-
перича скажу вам все...

– Ну, вот...

– Да тогда уж и отлучусь. По крайности объясню вам. Во-
сто раз лучше...

Никита понимает всю безвыходность своего положения и с особенным напряжением ума старается разузнать истинные позывы своей души.

– Ну? – спрашивает Балканиха. – Куда же наша душа над-
лежит по-настоящему?

– Душ-ша наша, – робко и протяжно начинает Никита, –
душа наша, матушка Пелагея Петровна, главнее норовит по
своей пакости как бы, например, согрешить, например, в ка-
бак...

– Глупец! – вскрикивает Балканиха. – Что ты это сказал!

Пелагея Петровна даже вскочила с своей кровати и под-
ступила к Никите, который испуганно подался к двери.

– Опомнись! Что ты сказал? В рай нашей душе по божье-
му писанию надлежит, а не в кабак! безумец этакой, в ра-ай!

Никита спохватился.

– Так! так!.. в рай! в рай-с!.. это точно... Ах ты, боже мой!
а я эво куда... Ах!..

– Нет, как ты осмелился это сказать? а? – еще ближе под-
ступая, горячится Балканиха.

– Да что будешь делать! Хорошенечко не огляделся, ну,

и... В рай-с! Будьте покойны! так, так...

– Ай-ай-ай... Видишь ты, как враг-то тебя оплел?., а? В кабак! Следственно, душа твоя до какого же безобразия искажена? У кого же ты теперича будешь просить защиты?

– У кого ж, кроме вас...

Балканиха даже всплеснула руками и, отступая в глубину комнаты, воскликнула:

– Да что ты Это? Очумел ты? У б-бога! только у бога одного!.. Сотвори крестное знамение...

– Пошибся! Не подумавши сказал... Виноват! Я было, признаться, и хотел-то это самое сказать, да маленечко, по грехам, не туда прохватил...

Озадаченный философским ухищрением, Никита уже с полным смирением слушал дальнейшие речи Балканихи и считал непременным долгом соглашаться с ней во всем; да и нельзя было не согласиться. Она так ярко изображала падшую его душу, стремящуюся прежде всего в кабак, так явственно рисовала ужасы адских мучений, что сердцу Никиты нельзя было не содрогаться: то видел он себя с огненной сковородой в руках, то чувствовал, как в его грешную спину загоняют железный крюк, чтобы повесить над огненной бездной...

– Верно! – произносил он в ужасе. – Верно, матушка Пелагея Петровна! Ах, справедливо!

Дело обыкновенно сводилось к тому, что Никита начинал клясться перед образом:

– Ежели только каплю, громом расшиби!

– Смотри! – говорила Балканиха.

– Будьте покойны! Ни в жисть не будет этого!

– Смотри!

– Даже ни-ни! Ни боже мой! Легкое ли дело... ни-ни! Пожалуйте вашу ручку.

– Цалуй... да сма-три!..

В эти минуты Никита действительно чувствовал такую энергию, о которой в обыкновенное время не мог и представить себе, так как вся рассудочная деятельность его была обыкновенно поглощена надеждою, что «бог не без милости». Тотчас же после нравоучения он решался вдруг все привести в порядок. Мгновенно, и даже несколько с сердцем, вытаскивал изпод навеса свои ветхие дрожки, устанавливал их посреди двора на солнечном припеке и, обдав водою, принимался скоблить, чистить, мыть. Все кожаное в своем экипаже смазывал густыми слоями сала, ослепительный блеск которого открывал целые миллионы изъянов, незаметных прежде под кучами грязи. Это, однако, не охлаждало Никиты.

– Ничего, живет! – говорил он, взяв в руки оглобли и лавируя с дрожками по Балканихину двору... – Еще как отлично-то!

Затем подобную энергическую реставрировку испытывала и несчастная кляча, потерявшая от нищеты хозяина и фигуру и способность что-нибудь ощущать: выражение глаз ее

в ту минуту, когда хозяин вытягивал ее кнутом, было совершенно такое же, когда хозяин угощал ее овсом. Потом следовали хлопоты в семье, в бане; Никита умывался, надевал чистую рубаху, расчесывал волосы, смазав их квасом, и с особенной любовью, какая может загореться в сердце человека с твердой верой в будущее благополучие, нянчил своих ребят, целовал их и разговаривал самым дружеским тоном.

На другой день рано утром Никита собирается ехать со двора. Старый армяк его вычищен и заштопан белыми нитками; шея обмотана новым, подаренным к крестинам, платком, подпирющим в самые скулы. В воротах он снимает шапку и не перестает креститься во все протяжении пути от ворот до перекрестка. Жена Никиты, с ребенком на руках, долго смотрит ему вслед, стоя за воротами. На перекрестке Никита, нахлобучив шапку, польснул кнутом клячу – и дело пошло в ход. Лошадь потащилась своей упругой рысью, оглашая пустынную улицу бряканьем селезенки. Никита размышлял, чувствуя в себе что-то новое, небывалое... Вдруг его качнуло назад, и дрожки остановились, утонув колесами в выбоине перед крыльцом знакомого кабака... Лошадь остановилась здесь по привычке.

Пораженный удивлением, Никита долго молчал, опустив руки, и наконец шепотом пробормотал:

– Каково вам покажется?

– Никита Петрович, – весело шептал из окна целовальник, – иди, благословись косушечкой!

– У-у! С-сак-кр-рушен-ние! – рычал Никита, с сердцем вытягивая лошадь кнутом.

Такие не всегда удачные попытки сделать доброе дело не только не убавляли ничего в славе Балканихи, но, напротив, – еще более придавали ей весу: Никита, вернувшись домой опять со сломанными дрожками и в разорванном армяке, снова чувствовал себя виноватым перед Пелагеей Петровной, и этот страх не пропадал даром, потому что обыватели нашей улицы видели его и поучались. Ко всему этому Пелагея Петровна постепенно прибавляла новые поводы для уважения. Так, например, она перечитала все книги, найденные у ее жильцов: молитвословы, календари, богослужебные книги, поучительные примеры благочестия, «Камень веры» и проч. и проч. Растеряева улица после этого вытаращила глаза на Балканиху, ибо в разговоре ее стали появляться такие слова, каких растеряевцы от роду своего слыхом не слыхали. Мало того, Балканиха могла каждому растолковать всякое подобное слово. В одинаковой мере понимала она, что такое значит – круг солнца, вруцелетие, индикта, как и такие тонкости, которые объясняют, что такое полиелей, преполовение. Рекомендую читателю представить себе, что должен был чувствовать растеряевец при взгляде на Пелагею Петровну в эту пору ее славы. Такие успехи она одерживала в то время, когда ей было только тридцать восемь лет от роду. В эту пору вздумал было посвататься за нее один мещанин, по фамилии Дрыкин, но скоро раздумал...

«С чего это он меня не взял?» – думала Балканиха в то время, когда вся наша улица полагала, что она сама отказала жениху, и совершенно не подозревала, что иногда в голову благочестивой Пелагеи Петровны закрадывалась мысль об отмщении за эту «обиду».

3. Мещанин Дрыкин

Мещанин Дрыкин до постройки огромного каменного дома не был известен почти никому в городе. Лет десять назад до этого времени видели его кой-кто на толкучке в ту самую минуту, когда он, не стесняясь громадным стечением публики, отнимал у жида-солдата нанковые панталоны, утверждая, что означенные панталоны принадлежат ему и хотя, по-видимому, гроша не стоят, но что он, Дрыкин, имеет тайную причину считать их весьма ценными, почему и требует с солдата, кроме панталон, штраф в три целковых да за бесчестье еще какую-то сумму. После этого пассажа встречали его еще кое-где: на нем был длинный изорванный черный сюртук, панталоны, похищенные у жида, картуз без подкладки, в руках держал он тонкую яблоневою трость. Так встречали его в продолжение многих лет, и затем он сразу делается обладателем огромного каменного дома, получая от растеряевцев наименование «темного» богача – то есть человека, который разбогател не то «убийством», не то «грабежом», не то отыскал клад. Как бы то ни было, но, разбогатев, Дрыкин начал строить дом. Он строил его на широкую ногу, со всеми удобствами; ворочал большими капиталами. В эту пору он посватался было за Балканиху, но, почуяв в ней обширный ум, расчел лучшим отказаться и женился на молоденькой. Растеряевское предание говорит, что тотчас после сва-

дъбы молодая супруга Дрыкина, по имени «Ненила», отдала приказание мужу, чтобы немедленно были приглашены все полковые музыканты и все господа военные из благородных, какие только есть в городе налицо.

В ответ на это муж, не говоря ни слова, отправил ее доить корову, сделав такое жестокое рукопашное внушение, что Ненила сразу как бы оглупела, затихла и вообще до того «испугалась», что Дрыкину впоследствии не было решительно никакой надобности в рукопашных внушениях: достаточно было только взглянуть, сдвинув брови, чтобы то или другое желание его исполнялось беспрекословно. Впрочем, полный порядок, по мнению Дрыкина, воцарился в доме его только тогда, когда он вместе с женой переселился в какую-то маленькую каморку окнами на двор, а в трех этажах каменного дома загорланило население кабаков, харчевен, номеров постоялого двора.

Ненила целые дни торчала в этой каморке, не показывая глаз на свет божий, а муж ее уселся за воротами на лавочке, в тех же нанковых панталонах, с тою же тростью в руках. Он видимо богател; но это богатство ничего не изменяло ни в его costume, ни в жизни: та же видимая нищета, тот же лук за обедом и проч. Даже кошелек его, казалось, вовсе не тучнел, потому что если какая-нибудь соседская баба обращалась к нему с убедительной просьбой насчет двугривенного, то в ответ на это он запуская два грязных пальца в дырявый карман жилета, вытаскивал заплесневелый екатерининский

грош и почти детски невинным голосом говорил:

– С великим бы, матушка моя, удовольствием, да вот только всего и денег-то у меня... Правда, был об Святой гривеник меди; ну, да по времени на себя извел... Что сделаешь-то? А с тех пор и денег-то никаких не случилось. И не знаю когда! Да и где теперь деньгам быть? Кажется, вот-вот с семьей побираться пойдешь...

– Ну, извините, – говорила разобиженная баба.

– С великим бы удовольствием, да ведь что будешь делать!.. До приятного свидания...

– Будьте здоровы!

– И вам также!

После такого разговора Дрыкин крякнет тихонько, постучит палкой по тротуару, держа ее между раздвинутых колен, и возобновит прерванный разговор. На лице его не произойдет ни малейшей перемены, даже улыбки не явится.

Постоянное пребывание Дрыкина за воротами давало возможность познакомиться с его, так сказать, душевными симпатиями. Иногда кто-нибудь из «объегориваемых» им приносил почитать газету. Чтение происходило за воротами.

Дрыкин особенно интересовался описаниями церемоний и изображением сверхъестественных происшествий: говорящая мышь, девица, проспавшая ровно пять лет и по пробуждении вдруг разрешившаяся от бремени, и проч. Об иностранных землях из тех же газет узнавал от тоже чудеса: упал камень с неба, чугунок под водой и под землей ходит и

т. д. Нужно сказать правду, такие известия потрясали Дрыкина. Он ахал и вздыхал. «Боже мой! – говорил он, – в других-то землях что делается! а?» Но нужно сказать также и то, что при всей искренности этих вздохов, ежели бы судьба забросила как-нибудь Дрыкина в одну из этих стран, переполненных такими удивительными вещами, то он прежде всего осведомился бы: «почем овес?», а про чудеса едва ли бы и вспомнил за хлопотами. Наивность его решительно не давала никаких шансов к соболезованию над ним по поводу тех ущербов, которые он должен понести в жизни, где, по-видимому, так много самых простых вещей и явлений, могущих поставить его в тупик. Нет!

Ворочая огромными капиталами и имея сношения со множеством народа, он между тем все бухгалтерские книги, кредиты и дебету ведет на притолоках амбаров и погребов, изображая углем и мелом палки, под которыми подразумеваются у него и люди, и овес, и проч. Кажется, уж как при таком невежестве не промахнуться, как не почувствовать потребности выучиться писать хоть по складам? Однако посмотрите, как он, не прибегая к чьему-либо посредству, сумел напугать своих должников, которые обходят его жилище за пять кварталов.

Все это может быть объяснено только тем, что в натуре Дрыкина сумели уживаться самые противоположные вещи, смиренно равнялись и давали дорогу первенствующему стремлению «знать свой карман».

В эту пору жизни мещанина Дрыкина никакая победа над ним не была возможна. Если бы дела продлились в таком порядке, то Ненила не успела бы ни разу вздохнуть свободно во всю жизнь, а Балканиха не имела бы случая восторжествовать. Но господь помог им обоим.

Дрыкин с давнего времени жаловался на боль в глазах.

Добрые люди советовали ему пить по заряду по два стакана чернобыльного настою, нюхать хрен и проч. Особенно было обращено внимание в этом лечении на то, чтобы суметь воспользоваться лекарством по возможности «до заутрени», «до петухов». В этом почему-то считали тайну лечения; однако, несмотря на всю силу доморощенных волшебств, дело кончилось тем, что Дрыкин ослеп.

В одно утро он открыл глаза, тер их кулаками, тарашил, крестился и наконец почти со слезами сказал:

– Нилушка! ведь я не вижу!

– Что ты?

– Господи! Господи, что ж это такое? ведь ослеп!..

Дрыкин заплакал. Ненила сначала в недоумении смотрела на мужа; потом ей вспомнилось что-то очень далекое, на лице появилась краска.

– Ослеп? – спросила она.

– Ослеп! как есть ослеп!

– Слава тебе, господи! – с истинным благоговением заговорила она. – Слава тебе, царю небесному! Слепи ты его, ирода, навеки нерушимо...

– Жен-на! Побойся бога! – стонал муж.

Но жена, вместо сожаления, захохотала и весело стала дразнить его:

– Ну, тронь?.. Ну, сделай твое такое одолжение, тронь? Найди меня!.. где я? ха-ха-ха!

– Б-боже мой, бож-же мой!..

С тех пор в доме Дрыкина пошло все вверх дном. Ненила, которой в эту пору было только двадцать шесть лет, тотчас же изгнала жильцов; вместе с ними выгнала вон из комнат своих ребят, которых она терпеть не могла за их безобразные рожи, – и запировала. Начала она переменять платья по пяти раз в день; явились у ней толпы приятельниц и винцо в полуштофе; целые дни шло шелканье орехов, и частенько подгулявшие бабы визгливо орали песни.

Дрыкин стонал, лежа в своем подвале.

Такие безобразия Ненилы продолжались по крайней мере с полгода; к концу этого времени она успела нагуляться «на все» и поугомонилась, не переменяя, впрочем, своих отношений к мужу. За воротами, куда Дрыкин наконец-таки опять перебрался, шло по-прежнему обдeldывание дел, но уже в степени гораздо меньшей против прежнего, ибо денежные расчеты Дрыкина постоянно перебивались мыслями совершенно побочного свойства.

– Ты говоришь, ударить ее? – говорил он, раздумывая, своему приятелю. – Ударить! Голубчик! как же ты ее ударишь, когда...

– Жену-то?

– Не про то! Теперича положим так: ну, даст мне господь, ошарашу я ее; но она заместо того пустит в меня из двадцати местов. И палочьем и чем угодно?..

– Так, того: в сонное бы время, – басил приятель. – Чать, знаете местоположение-то?.. Ну, вот тут бы ее и пристукнуть?

– Голубчик ты мой! – жалобно говорил Дрыкин, – ну, хорошо, пущай я ее разов пяток кокну в голову-то, но ведь получит она через это пробуждение, и, следственно, опять-таки меня, боже защити, как?

– Мудрено!

– Так мудрено, так, друг ты мой, мудрено, даже весьма опасно!

В эту пору распутицы семейной жизни Дрыкина Пелагея Петровна имела полную возможность одержать над ним какую угодно победу; это было тем легче, что слабые струны супругов не таились и были наружу. Принимая в расчет свойство этих струн, Балканиха находила весьма удобным и приятным для себя мутить между собою супругов. Делалось это с затаенной улыбкой и смехом. Главное орудие для супружеских стычек Пелагея Петровна имела в распущенном хозяйстве. Стоило ей показаться на дворе у Дрыкиных, как зоркий глаз ее тотчас же подмечал множество неисправностей: кухарка потихоньку снабжает хозяйским молоком свою родственницу; приказчик вместо пуда сена отпускает проезжа-

ющему половину, и этот последний обещается вперед не ступать ногой на постоянный двор Дрыкина; под сараем кто-то кричит: «Поддай!» – «Нет, врешь!»

Пелагея Петровна только головой качает и идет в сени; здесь раскрыты двери в чулан, в кладовую, в кухню; кто хочет – приди и возьми все: ни одна душа не хватится, и виноватого не сыщешь. Запасшись таким материалом, Пелагея Петровна являлась к Дрыкину и, поздоровавшись, начинала:

– Ну, отец, уж и хозяйство у тебя! Уж хозяйство! И что только это, дивлюсь я, жена у тебя смотрит?.. а?

– Матушка!.. – почти плача, говорил Дрыкин.

– А? везде крадут, везде тащат, все расперто; кажется, приди вор, возьми все, и не хватятся... Что это такое? Что ж ты на жену-то смотришь?

– Да, милая моя! Ну, положим, точно что, быть может, я ее и того... чем-нибудь... но ведь она в отместку и палочьем и...

– Да как же она смеет?

Дрыкин бледнел от злости и бодро произносил:

– И в самом деле?

– Доживешь, – продолжала Балканиха, – покуда по миру пойдешь побираться... Легкое ли дело, все навыворотку! Ах ты, боже мой! а?.. – качая головой, говорит она и идет в дру- гую комнату.

– Ах, боже мой! – продолжает она, подходя к Нениле. – Я смотрю, смотрю на тебя: господи! кажется, в чем только

душа держится... Похудела, осунулась... И как только ты это со слепым дьяволом живешь!

– Мочи моей нет! Убью я его!

– Именно! Скажите на милость, слепая чучела этакая, со всем молодую женщину...

Ненила схватывала половую щетку и как стрела налетала на мужа, который, в свою очередь, доспевал до возможности «кокнуть» супругу...

В ту же минуту Балканиха умела выскользнуть из комнаты; стоя за воротами, она прислушивалась к шуму битвы, происходившей в доме Дрыкина, и, с улыбкой глядя на небо, во всеуслышание говорила:

– Господи помилуй! господи помилуй!

Счастливо живет наша Балканиха до сей поры и по-прежнему пользуется общим почетом. Дает советы и принимает за них посильные приношения. Только порой еще и теперь досадует она, что не удалось ей прибрать к рукам старого Дрыкина.

Возвратимся теперь и к Прохору Порфирычу.

XV. Прогулка

В жаркое послеобеденное время по глухому переулку, в тени у заборов, шли два обывателя. Первый был известный читателю Прохор Порфирыч, другой самоварщик Кузька, воспитанник Пелагеи Петровны Балкановой. Это был здоровый малый лет семнадцати, с широким разжиревшим лицом, вздернутым носом и маленькими глазами, в которых проглядывало выражение какого-то непонятого негодования.

Оба приятеля были в «лучших» костюмах: Прохор Порфирыч, известный в нашей улице за изящнейшего джентльмена, в настоящую минуту совершенно оправдывал этот титул; все, что только отыскал он в своем сундуке аглицкого и французского, все было надето на нем. Незастегнутый сюртук, распахиваемый ветром, открывал пятившуюся вперед манишку и франтовскую жилетку, застегнутую на одну пуговицу. Новый шелковый галстук, из-за которого чуть-чуть показывались кончики воротников, скрипел и издавал какой-то металлический треск, далеко слышавшийся кругом во время безмолвного шествия. Нельзя не сказать, что такой наряд доставлял моему герою истинное удовольствие; держа обе руки назад, он гордо выступал вперед, холодным взглядом окидывая фигуру Кузьки, который представлял совершенный контраст с его джентльменской фигурой. Кузька был одет тоже во все новое; но его наряд в сравнении с на-

рядом Прохора Порфирыча не стоил ни полушки. Несмотря на нестерпимую жару, Кузька нарядился во все теплое: на голове у него был драповый новый картуз на вате; на плечах, кроме сюртука, драповая же ваточная чуйка с бархатным высоким воротником; шея была подвязана новым платком, но подвязана так, что Кузька не мог свободно повернуть голову и вздохнуть: кровь прилиwała к голове и стучала в мокрых от поту висках. Отправляясь на богомолье в село З – во, где, по расчетам Кузьки, должна собраться большая публика, он счел за нужное нарядиться во все лучшее, ибо в этом считал необходимое условие всякого праздника. Ко всем этим неудобствам его костюма нужно прибавить узкие выростковые сапоги, надетые на шерстяные чулки, и, наконец, глубокие калоши. Кузька прихрамывал и отставал.

– Ты ежели хочешь идти, так иди! – строго сказал ему Прохор Порфирыч, – мне с тобой возиться некогда. Этак мы к ночи не доберемся.

– Не сердись! – уныло сказал Кузька.

Порфирыч посмотрел на его раскрасневшуюся физиономию, по которой градом лился пот, и проговорил:

– Ишь рожу-то нажевал!..

– Да будет тебе, ей-богу! – беззащитным голосом протянул Кузька и обтер лицо колючим драповым рукавом.

– Ну иди, иди... Брошу!

Кузька, по-видимому, очень дорожил компанией спутника, потому что утроил шаги и скоро поравнялся с ним.

– И кто это только праздники выдумал? – бормотал он шепотом, чувствуя во всем теле нестерпимый жар.

Приятели молча продолжали шествие по пустынным переулкам. Жаркий ветер по временам дул в их запотелые лица и чуть-чуть шевелил запыленными листьями корявых яблонь, ветки которых перевешивались кое-где через заборы. От жары народ попрятался в дома; везде были закрыты ставни; спали люди, спали собаки. А солнце жгло и палило не уставая...

Исчезли последние дворишки самого отдаленного переулка, и путники вышли в поле. Пыльный и узенький проселок извивался по небольшой возвышенности, отлого спускавшейся к болотистому дну неглубокой ложбины. Здесь, через трясины, перекинут маленький мост без перил, запрудивший собою зеленую и гнилую болотную воду. На противоположном возвышении холма красуется новый кабак; около крыльца воткнут в землю длинный шест, к концу которого привязана пустая бутылка.

Народу идет «видимо-невидимо», преимущественно бабы, девушки и молодые мужчины всех классов и званий. Прохор Порфирыч идет молча, будучи обуреваем своими тайными размышлениями.

Размышления его имели довольно глубокомысленное направление. Как уже известно, во всей улице нашей он был единственный человек, умевший обходиться без кабака, без разбитого глаза и всегда имевший изящный костюм. Бла-

госостояние Прохора Порфирыча было до сих пор прочно до изумительности; но последние трудные времена до такой степени оказались трудными, что поколебали даже и его благосостояние. Даже он вздохнул не один раз. Самое ревностное желание рабочего народа было желание войны. «Хоть бы подрались где-нибудь, – толковали рабочие, – все больше было бы сбыту на оружейный товар». Но войны как назло нигде не случилось.

Прохор Порфирыч в эту трудную пору до того унизил свой авторитет, что решился даже обратиться за советом и сведениями к Пелагее Петровне. Эта дама не дала ему, впрочем, положительного ответа ни на один вопрос, а насчет войны отозвалась, что «не слышать».

– Точно что, – говорила она, – где-то заседают об этом деле, насчет того – где и как; но будут ли воевать или нет, наверно сказать нельзя.

Стали поэтому гнездиться в голову Прохора Порфирыча мысли о женитьбе и, следовательно, отчасти и о любви. Но эту последнюю вещь он тотчас же подвергнул собственной критике и убедился в полной ее невыгоде, тем более что он в совершенстве знал женский пол нашей улицы. Понадеяться на этот пол было весьма опасно; в доказательство этого он мог привести множество примеров. Не дальше как вчера он пробирался ночью, держа сапоги в руках, к своей соседке, у которой муж на минутку отбыл в село Селезнево для излечения от запоя. Недели две тому назад встретил он в го-

родском саду одну особу женского пола, которая несла из дому ужин брату-целовальнику, и имел с ней нечто секретное, после чего еще раз убедился в правоте своего взгляда на женский пол. Положительные желания его насчет этого предмета состояли в том, чтобы взять жену с состоянием, не обращая внимания на физиономию и возраст; при этом область любви он намерен был уступить супруге в полное распоряжение, а сам предполагал заведовать исключительно капиталом, мечтая об осуществлении одного наивыгоднейшего предприятия. По мнению Порфирыча, самое выгодное занятие – кабак. В качестве умного человека, он устроит кабак около какой-нибудь большой фабрики, будет давать рабочим в долг, под условием получать деньги из рук хозяина, который согласится на устройство кабака около фабрики, потому что Порфирыч предложит ему «профит», то есть вместо, например, пяти рублей будет брать только четыре, а за рабочим запишется все-таки пять. В воображении Прохора Порфирыча кабак этот рисовался какою-то разверстою пастью, которая не переставая будет глотать черные фигуры мастеровых. Картина и план были весьма эффектно и выгодно, не находилось только невесты с капиталом. Давно уже пустился он за поисками того и другого, но удачи особенной не видал.

Размышления по поводу этих обстоятельств и этих надежд одолевали его голову в то время, как он шел на богомолье в З-во. Кузька молча следовал за ним, стараясь не отставать.

– У тебя много ль денег-то? – спрашивает его Порфирыч, не поворачивая головы.

– Да, пожалуй, целковых два наберу. Ты, Порфирыч, бери их... Бери все.

– Вона!.. Я на всякий случай... Кабы с купца получил...

– Чего там, с купца! Бери все... Куда мне их? Я и не приберу... Только ты меня не кидай...

– Куда же я тебя кину?

– То-то! Уж сделай милость, голубчик... Ежели бросишь, что я один-то?.. Легче же, во сто раз, воротиться...

– Ну да ладно, не брошу! «Экая осина какая!» – подумал Порфирыч и замолчал снова.

А Кузька очень радовался, что будет иметь верного защитника и руководителя.

Пелагея Петровна, приходившаяся Кузьке теткой, взяла его на воспитание, когда ему было три года. Не любя мужа и не имея детей, она отдала весь запас женской любви воспитанию своего приемыша. Главные старания ее состояли в том, чтобы освободить Кузьку от тех несчастий и пороков, которыми видимо страдала наша улица. Поэтому Кузька с малых лет постоянно находился при ней, получая ласки в виде непрерывной еды. Общество мальчишек было для него чужим; он один катался на ледянке около ворот, не смея и боясь присоединиться к компании, и целые дни проводил в обществе старух, привыкнув к существованию вне общих растеряевских интересов. Кузька был усыплен и закормлен до

такой степени, что никакая новость, никакой любопытный факт, который ему приходилось видеть в первый раз в жизни, не приковывали его внимания.

Нужно было долго долбить одинаково сильными впечатлениями в окаменелую голову его, чтобы пробрать и заставить его заинтересоваться и жить. Но когда наконец он раззадоривался, – удержать его было трудно. На самоварной фабрике, куда Пелагея Петровна поместила его, в первый год затылок его был всеобщей наковальнею, на которой пробовалась сила хозяйских и товарищеских кулаков. На второй год он понял, в чем дело, и, развиваясь далее, норовил было уже отведать прелестей кабака; но Пелагея Петровна вовремя спохватилась, и тут началась реставрировка его развращавшейся души при помощи розог. Каждую субботу Пелагея Петровна припасала для своего приемыша по меньшей мере два пучка. Такая классическая система сделала то, что Кузька, будучи уже взрослым малым, был глупее всякого растеряевского ребенка. Огражденный стараниями Пелагеи Петровны от развращенных нравов, Кузька, по планам этой дамы, имел уже все шансы на счастливое и безмятежное житие. Страх, который чувствовал Кузька к своей пестунье, заставлял его всеми мерами следовать ее теории насчет собственного благосостояния и выискивать в растеряевских нравах такие проблески жизни, которые не соприкасаются с кабаком, не носят в недрах своих увечья, разбитого глаза, сибирки и проч., – так как, в самом деле, «не всё же кабак»...

Но каково же было изумление Кузьки (выражавшееся, впрочем, самой неопределенной тоской во всем теле), когда продолжительный опыт доказал, что, помимо кабака, помимо проклятий собственной жизни, – в растеряевских нравах нет ничего более существенного. Чем делиться растеряевцу с своей семьей, которая, в большинстве случаев, тоже дает нравоучение в форме беспрерывных попреков? В этой ли голодной и холодной семье найти хоть какую-нибудь дозу удовольствия, лихорадочно необходимого после долгих трудов? Но главное, под силу ли трезвому человеку перейти то море нужд, которое тянется и тянулось без конца?.. Насущный и ежеминутный вопрос растеряевской жизни – нужда. Под ее влиянием наши удовольствия, радости, словом – вся физиономия жизни. Кузька благодаря попечениям Балканихи не знал нужды и, следовательно, не мог жить в Растеряевой улице. Ему незачем было жить здесь. Посмотрите, с какими усилиями добивался он этой жизни «без кабака» и чем вознаграждались эти усилия.

Вот стоит он за воротами в жаркий летний полдень. По причине праздника все пообедали рано, и поэтому на улице ни души. Кузька стоит на солнечном припеке босиком и со злобою скребет затылок, стараясь хоть чем-нибудь развлечься.

Ветер треплет его нанковые шаровары и красную распоясанную рубашку. Все окружающее знакомо ему до мелочей. Но вот под забором спит чья-то собака. Выражение ли-

ца Кузьки делается определеннее; он осторожно достает кусок кирпича и, отставив ногу, разворачивается камнем в собаку... Пыль столбом взвилась у забора, и собака с визгом и лаем понеслась прочь, поджимая раненую ногу...

Визг собаки доставил Кузьке некоторое удовольствие; он слегка скосил губы на сторону и вернул головой вбок. И опять скука! Кузька замечает наконец, что на углу, в тени, мальчишки играют в бабки. Он вдруг почему-то принимает самую зверскую физиономию, торопливыми шагами идет туда и сбивает ногою все бабки прочь.

– Ну чего ты? – пищат мальчишки.

– Прочь! – кричит Кузька, разгоняя толпу затрещинами.

– Что они – трогают тебя? – заступается баба.

– А другого места разве нет им? – возражает Кузька.

– Ах ты, разбойник этакой! Постой, я вот Пелагее Петровне скажу, – кричит баба вслед Кузьке.

– А, по мне, говори! Что она мне сделает?

– Вот увидишь что!

Кузька сконфужен. Снова попав в область самой мертвящей скуки, он не решается больше искать развлечений на улице и идет в сарай. Здесь Никита чистит лошадь. Кузька медленно оглядывает давным-давно знакомый ему сарай.

– Тебе чего нужно? – строго спрашивает его Никита.

– А тебе что?

– Ты чего тут не видал?

– Да вот хочу. Что, тебе жалко?

– Ах, ты, дубина! – укоризненно говорит Никита. – Пелагея-то Петровна мало тебя бьет!.. Тебя, по совести-то, надо дубиной, да получше...

– Чего ты ругаешься-то? Что за барин уродился?

– Подлец! Именно подлец. Ну, чего ты здесь?

– Хочу!

– Дубина!

– Ну-ну, тронь!..

– Глупцы! – раздавался голос Пелагеи Петровны – и порядок восстанавливается. Разозленный Кузька заваливался спать где-нибудь на чердаке за трубой и с горя спал как убитый. Просыпался он ранехонько утром и тотчас, с голоду, принимался путешествовать по чуланам и кладовым, отыскивая что-нибудь съестное. Спросонок он действовал во время похищений очень неаккуратно: ронял горшки, опрокидывал банки. Разбуженная стуком, Пелагея Петровна являлась на место преступления, и Кузька получал достойное.

Помимо полной невозможности отыскать себе хоть какое-нибудь развлечение, Кузька был еще несчастлив в том отношении, что, в качестве семнадцатилетнего ребенка, становился в тупик перед самыми обыкновенными человеческими отношениями; весь мир божий казался ему множеством совершенно отдельных предметов, которые друг с другом не имеют никакой связи. Если же порой у него и мелькала иногда мысль, объясняющая то или другое явление, то Кузьке делалось как-то неловко, не по себе. Случалось, уви-

дит он пригожую девушку и почувствует при этом нечто особенное; он почти понимает, в чем заключается это нечто; но это кажется ему уже чересчур странным, и Кузька без разговоров выкидывает какую-нибудь безобразную штуку... Девушка, например, улыбается и посылает ему поцелуй, а Кузька показывает ей кулак, присовокупляя: «На-ко!» В заключение рассердится сам же на себя и со зла хватит камнем в собаку...

Между тем количество богомольцев, по мере приближения к 3 – ву, увеличивалось. Девушки шли толпами, звонко смеялись, расходились по густой и высокой ржи, плели венки из полевых цветов. Встретилась на пути жиденская рощица, и богомольцы рассыпались между деревьями. Молодые люди, на которых девушки смотрели с выразительными улыбками, присоединялись к ним и шли вместе. Некоторые из молодых людей, понимая по-своему смысл этих выразительных улыбок, припасли по две и по три бутылки наливки дамской, схоронив ее в глубине своих карманов.

Слышались разговоры:

– Ну-ко, кто кого? – спрашивал один юноша у другого, показывая из-под полы горлышко бутылки... – Не хочешь ли потянуться?

Прятели вламываются в рожь и приседают. Скоро опорожненная бутылка, словно ракета, взвивается вверх.

– Вот они, богомольцы-то! – подтрунивают бабы. – Вот так богомольцы!

По пыльной дороге то и дело проносились купеческие тележки с крепкими и статными лошадьми; изредка тащились извозчичьи дрожки с седоком-чиновником, приготавливавшимся испить до дна чашу наслаждений, о которой означенный чиновник так много слышал от приятелей. Вся громадная толпа путников подвигалась весело вперед. Солнце начинало садиться; тени прохожих вытягивались по земле до громадных размеров. Вот наконец и село. Богомольцы спускаются с высокого холма, огибающего с двух сторон низменный луг, переходят небольшой, трепещущий от ветхости мост и вступают на средину сельской улицы. Направо тянется длинная линия просторных изб с сараями позади; налево, на возвышении холма, красуется помещичий дом и церковь, к которой примыкают дома причта. Обе эти стороны разделены небольшим ручьем с болотистыми берегами.

Вся сельская улица против домов запружена народом. На земле кипят самовары и идет веселое чаепитие целыми компаниями. Кавалеры всяких сортов лавируют мимо женщин, занявшихся чаем, выказывая необыкновенно грациозные телодвижения. По мере того как надвигались сумерки и тетки, конвоировавшие молодых девиц, толпами отправлялись в церковь, — тайные цели кавалеров делались яснее. Девицы, схватившись под руки, весело разгуливали по сельской улице; кавалеры тоже целыми взводами двигались им навстречу, обжигая девиц многозначительными взглядами, и наконец решались вступить в разговор.

– Отчего же вы не в церкви?

– А вам какое дело?

– Как какое? Помилуйте!

– А вы лучше отстаньте...

– Н-нет-с...

Начинается разговор, сплошь состоящий из какой-то чепухи; тем не менее в конце разговора кавалер считает себя вправе задать наконец вопрос шепотом и на ушко.

– Вы где ночуете? – шепчет он.

– У Селиверста, – отвечает девица.

– В сарае?

– Да!

– Так, следовательно, – говорит он вслух, – вы, напротив, того мнения, что любовь...

– Отвяжитесь, ради бога!..

Люди опытные знают наизусть способ ведения сердечных дел, а люди неопытные, напротив, – в крайнем стеснении.

Прохор Порфирыч и Кузька тоже были в толпе гуляющих.

Кузька решительно не понимал, из какого источника льются эти нескончаемые разговоры кавалеров и дам? Где отыскать предметы для этих разговоров? Он был крайне сконфужен и плелся вслед за Прохор Порфирычем как осужденный на смерть, тогда как последний видимо успевал.

Внимание его было привлечено одной женщиной, очень недурной и миловидной, которая была в 3 – ве без подруг и одна сидела за самоваром. Она постоянно конфузилась и

бросала на мужчин испуганные взгляды.

Прохор Порфирыч заметил это и погнал от себя Кузьку.

– Отойди! – сказал он, – мне нужно!..

– Да куда ж я? – заныл было тот...

– Отойди прочь, говорю... Отстань!..

Кузька с горечью отошел от него и выбрался на самый конец села, где не было ни души. Здесь он расположился на траве и вздохнул свободнее. Прохор Порфирыч тотчас пустил в ход всю свою опытность «по женской части». Девушка конфузилась, потом украдкой взглянула на него. Прохор Порфирыч ответил ей легонькой улыбкой; девушке, как кажется, очень понравилось это; но мой герой, «зная женский характер», побаловал незнакомку улыбкой всего только один раз и потом напустил на себя необычайную серьезность. Такой прием Прохор Порфирыч считал очень удобным в применении к женскому полу, и действительно девушка стала интересоваться им. Несмотря на свою видимую холодность, Прохор Порфирыч старательно следил за девушкой, всеми силами стараясь разрешить – кто она такая. На замужнюю не похожа, – таких молодых жен мужья не отпускают от себя в 3 – во. Не похожа также и на девушку, потому что около нее нет ни одной пожилой присматривающей родственницы. Считать ее «из этаких» он тоже не мог, потому что в ней не было ни нахальства, ни бойкости. Прохор Порфирыч недоумевал: не вдова ли? думал он; но и на вдову тоже не было похоже: непременно уж был бы около нее кто-ни-

будь старший. Не разрешив этих вопросов, Прохор Порфирыч решился во что бы то ни стало попасть на ночлег в тот именно сарай, где поместится и красавица.

Часов в девять вечера улица начала понемногу пустеть.

Старухи возвращались от всенощной и укладывались спать в избах; самовары исчезли, изредка попадались кое-где фигуры пьяных мужчин. Сарай, помещавшийся позади изб, были полны молодежью. Прохор Порфирыч стоял на улице и шепотом разговаривал с хозяином одного двора.

– Будьте покойны! – говорил хозяин.

– Здесь ли?

– Здесь, уж я вам говорю. Пожалуйста!

Порфирыч и хозяин вышли задними воротами к конопляникам и направились к сараю.

– Уж я вас, – говорил хозяин дорогою, – в самое лучшее место положу.

Они вошли в темный сарай; сквозь плетеные стены его едва-едва прокрадывался лунный свет. В непроницаемой темноте со всех сторон слышался шепот, подавляемый смех и изредка многозначительный кашель.

– Где ж бы тут лечь? – спросил Порфирыч у хозяина.

– А вот-с, я сейчас, – сказал тот и зажег спичку. Яркий свет открыл довольно живописную картину: во всем сарае на разбросанном сене лежали вповалку мужчины и женщины.

Женщины при свете тотчас «загомозились» и принялись прятать голые ноги под белые простыни, закрываясь ими до

самых глаз.

– Да вот место! – сказал хозяин.

Прохор Порфирыч взглянул в угол, предназначавшийся для него, и увидел знакомую девушку, так интересовавшую его.

Она чуть-чуть выглянула из-под «бурнуса» и тотчас снова завернулась с головой.

Спичка погасла. Прохор Порфирыч ползком пробрался между лежавшим народом и достиг своего ложа. Девушка отодвинулась в угол.

– Ничего-с! сделайте милость, не беспокойтесь... – проговорил вежливо герой.

Во всем сарае было какое-то бессонное молчание.

– Куда ты? куда тебя дьявол несет?

– Мне сенца!

– Я тебе задам сенца!

– Что вы орете? Вот удивление!

Снова наставало молчание, и потом снова разговор.

– Подальше, подальше, батюшка! У меня свой муж есть.

– Вам беспокойно? – спросил Порфирыч соседку.

– Нет, ничего-с!

– А то не угодно ли вот сюда?

– Нет, нет, – шептала та.

– Да что вы опасаетесь? будьте покойны. Я не какой-нибудь...
будь...

– Уж вы этого не говорите. А я вам прямо скажу, я не на

это сюда пришла.

– Да помилуйте! Даже на уме не было! Я вот перед богом скажу вам, всей бы душой познакомиться желал.

– Это зачем?

– Как-с зачем?.. Позвольте ваше имя-отчество?

– Раиса Карповна.

– Так, Раиса Карповна, что же, вы тятеньку имеете?

– Нет, ни тятеньки, ни маменьки нету, померли.

– Что же, стало быть, вы у родственников изволите жить?

– Н-нет... Я не здешняя...

– Приезжие?

– Епифанская... из Епифани...

– Да-да-да... И что же, теперича вы здесь при месте?

Девушка промолчала.

– Или в услужении?

– Н-нет... Я... Да вы заругаетесь!

– Ах! Что это вы? Как же я смею? Неужели ж этакое свинство позволю?

– Я... Господина капитана Бурцева знаете?

– Это которые полком тут стоят?

– Они.

– Ну-с?

– Ну, я при них...

– То есть как же это: по хозяйству?..

– Нет... Я, собственно... Как они проезжали, и видят – я сирота... «Поедем», – говорят... Ну я, конечно...

– Да-да-да... Что ж? дело доброе.

– Вот вы надсмехаетесь!..

– Чем же-с?.. Даже ни-ни.

«Э-э-э! – подумал Порфирыч, – вот она, птица-то!» – и замолчал.

Тишина в сарае продолжала быть бессонной, и это очень растрогало Порфирыча; он вздохнул и обратился к соседке с каким-то вопросом.

– Ах, оставьте!.. Я и так уж...

– Что такое?..

– Да самая горькая...

– То есть из-за чего же?

– Голубчик! Лежите смирно! Я вас прошу!

– Помилуйте, из-за чего же горькие? Будьте так добры...

Обозначьте!

– Они уезжают: капитан-то...

– Н-ну-с. Что же? И господь с ними...

– Хотели меня замуж выдать, да кто меня возьмет?

– Как кто? Конечно, ежели будет от них помощь...

– Они дают деньгами...

– Много ли?

– Полторы тысячи...

У Порфирычахватило дух.

– Ка-как?.. Пол-лтар-ры... Вы изволите говорить – полторы?

– Да... Перед венцом деньги.

– Раиса Карповна, – проговорил Порфирыч... – Верно ли это?

– Это верно.

– Я приду-с... К господину капитану... Приду-с!

– Голубчик! Вы надсмехаетесь?

– Провались я на сем месте... Завтра же приду!..

– Ах, миленький... Обманываете вы... Я какая... Вы не захотите...

– Да я скорей издохну... Деньги перед венцом?

– Да, да... Уж и как же бы хорошо... Не обманете?

– Ах!.. Раиса Карповна! Да что ж я после этого?..

– Голубчик!..

Между тем Кузька, улегшийся на траве за селом, был в большом унынии: ничто не могло расшевелить его настолько, чтобы заставить разделить общие удовольствия; его одолевала полная тоска. Долго лежал он молча. Взошел месяц, над болотом стал туман, заквакали лягушки, и на селе не слышалось уже ни единого человеческого звука. Наконец тошно стало ему здесь. Он решился идти в село на ночлег.

На сельской улице не было никого; только на одном из крылец сидел хмельной дворник и разговаривал с бабой, стоявшей на улице,

– Арина! – говорил дворник.

– Что, голубчик?

– Уйди, говорю, отсюда.

– Илья Митрич! За что ж ты меня разлюбил? Господи!

Сирота я горемычная...

– Арина! говорю: уйди! Слышь?..

– Илья Митрич!

– Я говорю, уйд-ди!

Кузька вошел в первые отворенные сени, спросил у хозяйина позволения ночевать и лег с глубоким вздохом, надеясь, что, может быть, завтра будет легче на душе.

Но надежды его не сбылись и завтра. Во-первых, он снова был без руководителя, так как Прохор Порфирыч совершенно увлекся ночной соседкой, чему в особенности способствовали полторы тысячи «перед венцом». Второе несчастье Кузьки состояло в том, что утро другого дня не имело даже и того напряженного веселья, каким обладал вчерашний вечер: публика рано начала собираться в город, так как все самое интересное в празднике было уже вчера.

Девицы и кавалеры, встречаясь друг с другом при дневном свете, были даже нелюбезны.

Публика разбрелалась. На сердце Кузьки становилось все тяжелей и тяжелей: он не выносил с гулянья ни одного приятного ощущения; рубль семь гривен, которые он пожертвовал себе на увеселения, были целехоньки. «Неужели же, – думалось ему, – с тем и домой воротиться!» Как за последнюю надежду, ухватился он за мысль – снова пойти в кабак.

В кабаке было множество посетителей... Пили, говорили с пьяных глаз что-то совсем непонятное, спорили, жаловались.

Внимание Кузьки было привлечено компаниею подгулявшей молодежи.

– Нет, не выпьешь! – кричал один.

– Ан врешь!

– Что такое?

– Да вот Федор берется четверть пива выпить на спор.

– Дай, об чем?

– И спорить не хочу...

– Нет, нет, пушай его! Друг, пива!

– Поглядим...

Явилась четверть пива в железной мерке; Федор перекрестился, поднял ее обеими руками и принялся цедить.

Публика следила за ним с особенным вниманием.

– Н-нет! – произнес неожиданно Федор – и хлопнул четвертью об стол.

– А-а!.. – слышалось со всех сторон.

Охмелевший Федор присел к столу. Глаза его смотрели бессмысленно.

Кузька, в минуту неудачи Федора, вдруг почувствовал в себе сознание чего-то небывалого. Громадные нетронутые силы, давно ждавшие какого-нибудь выхода, зашевелились.

Он видел теперь перед собой такое дело, которое понимал вполне и которое могло прославить его, по крайней мере, в З-ском кабаке. Кузька чувствовал, что теперь ему предстоит сделать первый сознательный и смелый шаг. Он смело подошел к гулякам и проговорил:

– Что дадите, я выпью четверть?

– А ты чем стоишь?..

– Берите, что есть: рубль семь гривен.

– Ладно! А с нашего боку, ежели выпьешь, пей сколько хочешь и чего твоей душе угодно... Деньги наши...

Идет?

– Кричи!..

– Пив-ва! – заорала компания...

Скоро все общество в кабаке столпилось около Кузьки, который удивлял всех своим богатырским подвигом. Четверть пива быстро подходила к концу. Кузька ни разу еще не передохнул, только лицо его медленно наливалось кровью, глаза выкатились и сверкали белками...

– Ах, прорва! – говорил удивленный зритель.

– Батюшки, шатается! – вскрикнул другой, – шатается!..

– Держи, держи его... Расшибется!..

– Уйти от греха! – прошептал третий и выскользнул из кабака; на улице он слышал, как в кабаке что-то грузное рухнулось наземь...

XVI. Благополучное окончание

Мне остается прибавить еще очень немного: Кузька умер в больнице, в бреду. Сонные нервы его были разбиты слишком непривычным хмелем. Прохор Порфирыч, напротив того, с успехом сделал второй шаг на поприще своего благосостояния: он явился к господину капитану Бурцеву, объяснил ему свое желание вступить в брак и особенно настойчиво изложил условия этого брака. Фразы «полторы тысячи» и «перед венцом» занимали достаточную часть в его объяснении.

Несмотря, однако, на видимую корысть, согласие было дано...

Более всех радовалась бедная невеста, которая и не чаяла, как вырваться на божий свет. Она безмолвно благоговела перед своим женихом и из метрессы превратилась в покорное, любящее существо, готовое на всякую жертву.

– Голубчик! – с любовью шептала она, бродя вслед за Прохором Порфирычем по саду, куда капитан отправил их переговорить, – милый мой!..

Мой герой и здесь не уронил себя: видя в невесте неподдельную любовь, он постарался, с своей стороны, отплатить ей за это как можно благороднее. Для этого он вежливо задавал ей вопросы насчет того – «не мешает ли, мол, вам табачный дым?», подхватывал упавший платок, подносил благовонный букет и среди всякого рода вежливостей не забы-

вал присовокупить:

– Так уж сделайте милость, чтобы это было, верно, – перед венцом-то!